



ПИТЕР КУРТ

АНАСТАСИЯ
ЗАГАДКА ВЕЛИКОЙ
КНЯЖНЫ



Питер Курт

**Анастасия. Загадка
великой княжны**

«Издательство Захаров»

1983

УДК 82-94
ББК 84(3Анг)

Курт П.

Анастасия. Загадка великой княжны / П. Курт — «Издательство Захаров», 1983

ISBN 978-5-8159-1247-2

История Анастасии – это повесть об эмигрантах. Она о людях, внезапно потерявших почву под ногами, ослепленных прошлым, видевшимся им идеальным, затаивших злобу и парализованных неуверенностью. Это рассказ о мучительной нерешительности и чудовищных недоразумениях. Наконец, это главным образом история семьи, оказавшейся в кризисной ситуации, некогда могущественной династии, столкнувшейся с проблемой, неподвластной ее законам и традициям, семьи, частично уничтоженной во время революции или оказавшейся в изгнании. И этой семье было предложено признать своим членом больную, неуравновешенную, склочную женщину, которую мало кто готов был счесть нормальной, а не то что единственной наследницей царя. Разгадка Анастасии не в России, но в самой семье Романовых, где гордость и внешние приличия возобладали над состраданием и обрекли человеческое создание на одинокое существование в полном горечи мире обвинений и сомнений.

УДК 82-94
ББК 84(3Анг)

ISBN 978-5-8159-1247-2

© Курт П., 1983
© Издательство Захаров, 1983

Содержание

Предисловие	8
Часть первая	13
Дальдорф	13
«История»	28
Скитания	39
Часть вторая	50
Тени прошлого	50
Реакция семьи	63
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Питер Курт

Анастасия. Загадка великой княжны

*О милосердные боги, взгляните милостивым взором на мою дочь.
И из священных ваших фиалов излейте ей на голову все дары
благодати!*

*Теперь, родная моя, расскажи, как ты спаслась, где жила, какими
судьбами попала ко двору отца?*

От меня же ты узнаешь, как я, услышав от

*Паулины предсказание оракула, подававшее надежду, что ты
жива, для того только и сохранила себя, чтобы увидеть, как
исполняется предсказание.*

Шекспир. «Зимняя сказка»

Peter Kurth
ANASTASIA
The Riddle of Anna Anderson

ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Анастасия Чайковская (1896–1984) – известная также как Анна Андерсон, объявившая себя великой княжной Анастасией Николаевной.

Николай II (1868–1918) – российский император.

Александра Федоровна (1872–1918) – жена российского императора, урожденная принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская.

Алексей Николаевич (1904–1918) – их сын, цесаревич.

Ольга Николаевна (1895–1918)

Татьяна Николаевна (1897–1918)

Мария Николаевна (1899–1918)

– их дочери, великие княжны.

Анастасия Николаевна (1901–1918)

Александр Михайлович (1866–1933) – великий князь, двоюродный дядя и зять Николая II.

Александр Никитич (князь Александр Романов) (1929–2002) – внук в.к. Александра Михайловича и в.к. Ксении, сестры Николая II.

Андрей Владимирович (1879–1956) – великий князь, двоюродный брат Николая II и дядя в.к. Анастасии.

Барбара, герцогиня Мекленбургская (1920–1994) – внучка принцессы Ирены Прусской.

Боткин Глеб Евгеньевич (1900–1969) – младший сын доктора Боткина.

Боткин Евгений Сергеевич (1865–1918) – лейб-медик, убит в 1918 году.

Боткин Сергей Дмитриевич (1869–1945) – двоюродный брат доктора Боткина.

Боткина Татьяна Евгеньевна (1898–1986) – дочь доктора Боткина.

Буксгевден Софья Карловна (1884–1956) – баронесса, фрейлина императрицы Александры Федоровны.

Вальдемар, принц Датский (1858–1939) – брат императрицы Марии Федоровны.

Вингендер Дорис (1903—?) – в замужестве Ритман, дочь квартирной хозяйки Франциски Шанцковской.

Волков Алексей Андреевич (1859–1929) – камердинер императрицы Александры Федоровны.

Вольман Карл-Август, адвокат Анастасии после 1962 года.

Дассель Феликс (7—1958) – капитан 9-го Казанского Драгунского Великой княжны Марии Николаевны полка; во время Первой мировой войны находился в лазарете, состоявшем под патронажем в.к. Марии и Анастасии в Царском Селе.

Дженнингс Энни Бер, жительница Нью-Йорк-Сити и Фэрфилда, штат Коннектикут, принимавшая у себя Анастасию с 1929 по 1931 год.

Жильяр Александра (1884–1955) – «Шура», урожденная Теглева, няня в.к. Анастасии.

Жильяр Пьер (1879–1962) – учитель французского языка детей Николая II.

Ирена, принцесса Прусская (1866–1953) – сестра императрицы Александры Федоровны.

Кирилл Владимирович (1876–1938) – великий князь, двоюродный брат Николая II, брат в.к. Андрея, в 1924 г. провозгласивший себя императором.

Кляйст Артур Густав фон (1873–1928) – барон, бывший полицейский офицер в России, первый покровитель Анастасии в Берлине.

Ксения Александровна (1875–1960) – великая княгиня, сестра Николая II.

Ксения Георгиевна (1903–1960) – великая княжна (миссис Лидс), троюродная сестра Анастасии.

Леверкюн Пол (1893–1960) – адвокат Анастасии (вместе с Куртом Фермереном) с 1938 по 1960 год.

Лейхтенбергский герцог, Романовский-Богарне Георгий Николаевич (1872–1929) – правнук Николая I, принимавший Анастасию в замке Зееон.

Лейхтенбергская герцогиня, Ольга Николаевна (1872–1953) – его жена, урожденная княжна Репнина-Волконская.

Лилберн Йен, англичанин, друг принца Фридриха и советник Анастасии в Гамбурге.

Лэвингтон Фейт, гувернантка детей и внуков герцога Георга Лейхтенбергского.

Мария Федоровна (1847–1928) – мать Николая II, вдовствующая императрица, урожденная принцесса Датская Дагмара.

Мэнахан Джон (1919–1990) – доктор, муж Анастасии после 1968 года.

Ольга Александровна (1882–1960) – сестра Николая II, великая княгиня, замужем за полковником Николаем Куликовским.

Остен-Сакен Василий Львович фон дер (1872–1949) – «Вилли», барон, секретарь Сергея Боткина.

Пойтерт Мари Клара (1871–1933) – портниха-немка, пациентка Дальдорфской психиатрической больницы.

Ратлеф-Кайлман Гарриет фон (1887–1933) – скульптор и писательница, опекала Анастасию в 1925 году.

Сигизмунд, принц Прусский (1896–1978) – сын принцессы Ирены Прусской, двоюродный брат Анастасии.

Фермерен Курт (1885–1962) – адвокат Анастасии (вместе с Полом Леверкюном) с 1938 по 1962 год.

Фридрих-Эрнст, принц Саксен-Альтенбургский (1905–1985) – зять принца Сигизмунда а Прусского, дядя Барбары Мекленбургской; после 1949 года представитель Анастасии.

Фэллоуз Эдвард (1865–1940) – адвокат Анастасии с 1928 по 1940 год.

Цале Херлуф (1873–1941) – чрезвычайный и полномочный посол Дании в Берлине.

Цецилия, принцесса Прусская (1886–1954) – германская кронпринцесса, дочь великого герцога Франца III Мекленбург-Шверинского и великой княгини Анастасии Михайловны.

Шанцковская Франциска (1896–1920?) – польская работница, пропала в 1920 году.

Швабе Николай фон, капитан Кирасирского Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полка, в эмиграции – издатель монархистской газеты «Двуглавый орел».

Штакельберг Курт фон, адвокат Анастасии в Германском Верховном суде.

Эрнст-Людвиг, великий герцог Гессен-Дармштадтский (1868–1937) – брат императрицы Александры Федоровны.

Предисловие

Мне было 13 лет, когда я впервые увидел художественный фильм «Анастасия» с Ингрид Бергман в главной роли. В основе фильма была биография Анны Андерсон, женщины, называвшей себя единственной оставшейся в живых дочерью последнего русского царя. Это раннее воспоминание стерлось под воздействием времени и моих последующих разысканий, но я всё ещё помню сказанные вскользь слова моей матери: «Ты знаешь, ведь это подлинная история. Ну, вроде бы...»

Тогда мне ничего не было известно о жизни и таинственной смерти последних Романовых. Да и когда я начал знакомиться с этими фактами, подлинность личности Анны, Анны Андерсон, интересовала меня гораздо меньше, чем драма Николая и Александры, скандалы с Распутиным и кровавый триумф большевистской революции. Я узнал тогда, что Анна Андерсон была не единственной претенденткой на имя и титул царской дочери, что со времени зверского убийства царя и его семьи в Екатеринбурге в 1918 году существовали и другие «Анастасии», и лже-цесаревичи Алексеи, и множество женщин, объявлявших себя «великими княжнами». Я предполагал тогда, что госпожа Андерсон была всего лишь одной из наиболее известных несчастных психопаток, но я ошибался и хорошо помню тот момент, когда впервые это заподозрил.

Семнадцатого февраля 1970 года западногерманский Верховный суд вынес постановление по иску госпожи Андерсон, подтвердившее уже вынесенный самой историей вердикт о несостоятельности ее претензии. Но что меня поразило более всего, это то, что такая претензия вообще могла существовать. Почему постановление вообще оказалось необходимо? Что заставило судей высшей инстанции выслушивать домогательства женщины, которая (по утверждению ее противников) «не имела ни малейшего сходства с великой княжной Анастасией», «не знала ни слова по-русски» и чьи представления о придворной жизни не выходили за пределы общеизвестных фактов. Если верить безапелляционным отказам признать госпожу Андерсон Анастасией со стороны наиболее близких к великой княжне людей – дядей и теток, воспитателей, слуг и придворных, как я мог поверить, что кто-либо, и менее всех судьи, мог принимать ее претензию всерьез? Что-то в деле Анастасии отзывалось фальшью, и со страстью, которая и сегодня не перестает изумлять меня самого, я пустился на поиски того, что именно это было.

В своей первой попытке раскрыть эту тайну я был неутомим, настойчив и, с позиций сегодняшнего дня, до смешного наивен. Вооружившись тремя устаревшими книгами о «деле Анастасии», пачкой статей из американских газет и материалом интервью, которое мне удалось взять у одной из княжон дома Романовых, я создал двухсотстраничный опус, казавшийся мне решительным и окончательным ответом на все вопросы. Я открыто заявил в нем о своей убежденности в том, что речь идет об одной из величайших загадок истории и что г-жа Андерсон на самом деле является царской дочерью. Она казалась мне тогда воплощением трагедии, нежным, кротким созданием, запутавшимся в паутине международных интриг и лишенным своих законных прав сворой меркантильных и беспринципных родственников.

Мои обличительные речи на эту тему были вполне в духе той истерии, которую притязания г-жи Андерсон вызвали у уцелевших членов семьи Романовых и эмигрантов из числа российской аристократии. Я уже наслушался порядком о братьях, сестрах, кузинах и кузенах, ополчившихся из-за нее друг на друга, о недостойных схватках за деньги и драгоценности, о бесконечных толках о чьих-то правах и семейных дрязгах. И всё же я не был готов к моей первой поездке в Европу, куда я вскоре отправился, чтобы выяснить некоторые подробности, и где впервые столкнулся с целой бездной показаний, собранных в ходе тридцатисемилетней борьбы г-жи Андерсон за признание законности ее прав. Сорок томов материалов дела составляли многие тысячи страниц текста на немецком языке. Тогда я не знал немецкого. Вернув-

шись тем летом домой, я не утратил энтузиазма, но мои надежды на скорое опубликование книги значительно уменьшились.

Только десять лет спустя, после еще трех продолжительных поездок в Европу, я закончил свои разыскания.

Я уже подготовил новую рукопись, когда в 1978 году в библиотеке Гарвардского университета обнаружил тринадцать коробок с неразобранными бумагами по «делу Анастасии». К тому времени я уже знал о нем достаточно, чтобы понимать, что от этой ценной находки, хотя ею и следовало заняться, не надо ожидать откровений: чувство бесплодности всего происходящего, испытываемое мной во время долгих поисков правды об Анастасии, разделяли со мной все, чья жизнь соприкоснулась с ее жизнью. Всё стало понятно, когда я, наконец, осознал, что пытаюсь доказать недоказуемое, что индивидуальность нельзя обнаружить на клочках бумаги, а идентичность определяется не только по отпечаткам пальцев.

Однако во время поисков я узнал еще и многое другое. Мои изначальные предположения об источнике всех бед, постигших г-жу Андерсон, при всей их логичности и убедительности, были до крайности наивными. Она действительно запуталась в паутине, но в паутине, сотканной скорее из человеческой слабости, чем из злого умысла. Мне пришлось понять и запомнить, что не она одна отстаивала свою идентичность. Все ее окружавшие – бывшие великие князья и княгини, бывшие офицеры императорской гвардии и ловкие камеристки – все они утратили свое положение вместе со смыслом существования. Анастасия – это повесть об эмигрантах. Она о людях, внезапно потерявших почву под ногами, ослепленных прошлым, видевшимся им идеальным, затаивших злобу и парализованных неуверенностью. Это рассказ о мучительной нерешительности и чудовищных недоразумениях. Наконец, это главным образом история семьи, оказавшейся в кризисной ситуации, некогда могущественной династии, столкнувшейся с проблемой, неподвластной ее законам и традициям, семьи, частично уничтоженной во время революции или оказавшейся в изгнании. И этой семье было предложено признать своим членом больную, неуравновешенную, склочную женщину, которую мало кто готов был счесть нормальной, а не то что единственной наследницей царя. Разгадка Анастасии не в России, но в самой семье Романовых, где гордость и внешние приличия возобладали над состраданием и обрекли человеческое создание на одинокое существование в полном горечи мире обвинений и сомнений.

Существует рассказ о великом князе Борисе Владимировиче, двоюродном брате царя, известном своим распутством. Сидя в одной из парижских гостиниц в конце 20-х годов, он слышал, как кто-то из родни отозвался об Анне Андерсон как о фабричной работнице из Польши, страдающей манией величия. Другой заметил, что она латышская уголовница, в то время как третий утверждал, что она агент Ватикана. Ни один из этих людей никогда ее в глаза не видел. Великий князь Борис, как говорят, погасив сигарету – между прочим, марки, которую он счел для себя приличным рекламировать в изгнании, – возвел глаза к небу и воскликнул: «Дайте же бедняге хоть какой-то шанс!»

Великий князь знал то, что оставалось неизвестным другим. «Был ли причиной раздора тайный сговор какой-то группировки, – писала приятельница г-жи Андерсон, – или неудачная цепь несчастных случаев и совпадений, или просто слепые предрассудки и заблуждения... одно очевидно: проклятие дома Романовых заключалось в том, что они никогда не могли откровенно говорить друг с другом. Доводы «за» и «против» не следовало доводить до суда, но обсудить их мирно и дружелюбно и уладить всё на семейном совете».

Подоплека истории г-жи Андерсон, по сравнению с бесконечными спорами о подлинности ее личности и всем объемом доказательств, собранных за последние 60 лет, исключительно проста.

В марте 1917 года после отречения Николая II семеро членов российской императорской семьи, состоящей из царя, императрицы Александры Федоровны, их большого гемофилией сына, цесаревича Алексея, и четырех дочерей, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, были арестованы Временным правительством и находились под стражей в Александровском дворце в Царском Селе, недалеко от Санкт-Петербурга. Этот дворец был постоянным местопребыванием семьи после революции 1905 года. В течение первых месяцев заключения им разрешалось вести во многом прежний образ жизни – уроки, прогулки, молитвы, в пять часов чай. Царь всегда был известен как образцовый семьянин, самые счастливые часы своей жизни проводивший с женой и детьми, читая вслух, занимаясь садоводством, наклеиванием бесчисленных фотографий в семейные альбомы, обсуждая важные и не очень важные события дня. С начала войны 1914 года, однако, эти уютные собрания стали редкими. Царь часто выезжал на фронт, а императрица, чье здоровье начало сдавать, одержимая идеей самодержавия и священного права государей на власть, фанатически доверяющая Григорию Распутину, стала вмешиваться в государственные дела. Оставшись в одиночестве после падения монархии, семья не особенно тосковала о былом величии и больше страдала от скуки, чем от глумления собиравшейся ежедневно у ворот толпы.

Целые недели императорская семья проводила в домашних заботах. Каждый день четыре великие княжны занимались уроками и изящными искусствами, как и подобало принцессам их ранга. Они изучали историю, математику и естественные науки. Они умели шить, вышивать, ездить верхом, танцевать, играть на рояле и вести беседу (хотя и не безусловно) на русском, английском, французском и немецком языках. К весне 1917 года девушки были уже совсем взрослые. Старшей, Ольге Николаевне, был 21 год, а Анастасии, четвертой и самой младшей дочери, 18 июня исполнилось шестнадцать. Это была полная шаловливая коротышка по прозвищу «швивзик» или «шибзик» (постреленок), наделенная комическим даром. Одна из подруг ее матери вспоминала, что девушка была «живая, как ртуть... у нее вечно были проказы на уме, настоящий сорванец». Она отличалась талантом подражания и суховатым, иногда жестоким чувством юмора. В семье часто говорили, что не родись Анастасия великой княжной, она стала бы превосходной актрисой, и ее выходки нередко поднимали настроение семьи в самые тяжелые моменты их плена.

Первый удар обрушился на них в августе, когда правительство Керенского, опасаясь возмездия и надеясь уклониться от исполнения требований революционеров предать царя и царицу суду за преступления против русского народа, перевело императорскую семью за две тысячи миль на восток от Царского Села, в Тобольск. Там семья в сопровождении небольшой группы преданных учителей, придворных и слуг заняла просторный особняк бывшего губернатора и в течение еще восьми месяцев вела терпимый, но убийственно скучный образ жизни. Только через некоторое время после ноябрьского переворота они поняли, что значит быть пленниками революции. Солдаты, посланные в Тобольск Керенским, были дисциплинированы и уважительны, большевики из новой охраны такими качествами не отличались. Напротив, они желали видеть страдания «гражданина Романова» и его семьи, и этим желанием было суждено осуществиться. Работающего в саду царя толкали и пинали. Императрица, проводившая большую часть времени в уединении своей комнаты, могла слышать разговоры солдат о «немецкой суке» и видеть порнографические рисунки, изображающие ее с Распутиным. Юные великие княжны, наслаждавшиеся до 1917 года флиртом с офицерами свиты, начали понимать, какими безобразными могут быть отношения между полами.

Никто не знает, подвергались ли царские дочери в заключении сексуальным надругательствам. В монархистских кругах позже распространялись слухи о том, как привязанные к стульям девушки становились жертвами группового насилия. Хотя такие слухи могли быть преувеличенными, угроза насилия всегда существовала. Когда в апреле 1918 года большевики внезапно перевели царя, царицу и их третью дочь, великую княжну Марию, из Тобольска в

более уединенную тюрьму в Екатеринбурге, они оставили Ольгу, Татьяну и Анастасию с больным цесаревичем Алексеем в губернаторском доме. Девушкам запретили запирались на ночь в своих комнатах. Алексей и его воспитатели, можно надеяться, служили, пусть и слабой, защитой от злобной похотливости солдат. Великая княжна Ольга говорила от имени всех своих сестер, когда писала в тайно переданном осторожном письме подруге: «Ты должна знать, дорогая, как это всё ужасно». Ольга написала эти слова за три недели до события, получившего название «сошествия во ад».

Когда великие княжны с братом прибыли наконец, 23 мая, в Екатеринбург (цесаревич к тому времени достаточно окреп для переезда), их тут же разлучили с остатками окружения и поместили в Ипатьевский дом, «Дом особого назначения», как называли его большевики, где их ожидали родители, сестра Мария, врач царской семьи Евгений Сергеевич Боткин и прислуга. В тот день шел проливной дождь, и жители Екатеринбурга в последний раз увидели царских дочерей, тащивших по грязным улицам свои пожитки в тюрьму. Люди из их окружения, кому посчастливилось избежать заключения и казни, оставались в городе еще несколько недель, надеясь помочь тем, кому они служили. Но они никогда их больше не увидели. Никто их больше никогда не увидел.

О двухмесячном пребывании царской семьи в Ипатьевском доме известно очень мало. Окна были забелены, а позже были возведены высокие частоколы, чтобы скрыть из вида самых главных большевистских пленников. Известно, что семья помещалась в двух комнатах. В одной спали на полу на матрасах четыре великих княжны, в другой жили Николай и Александра с сыном. Известно, что каждый день их выводили на прогулку во внутренний двор и что питались они, вместе с их тюремщиками, супом с черным хлебом. Известно, что когда Анастасия «попросила пару новых туфель из хранившихся на чердаке вещей, ей сказали, что и старых ей хватит до конца жизни». Известно, что сундуки великих княжон были обысканы и вещи украдены, что единственную уборную, где им запрещалось закрывать дверь, они посещали под караулом (на стене впоследствии нашли надпись: «Пожалуйста, оставляйте сиденье в чистоте») и что в таких условиях девушки читали Толстого и Тургенева. В начале июля, когда Белая армия приближалась к Екатеринбургу с востока, внутреннюю охрану Ипатьевского дома заменили иностранцами, которых обычно называют «латышами». Наконец, 14 июля была отслужена последняя обедня. Впоследствии служивший ее священник свидетельствовал, что царская семья, нарушив порядок службы, опустилась на колени во время заупокойной молитвы. А в конце одна из великих княжон успела шепнуть священнику «спасибо».

«Что-то там с ними случилось», – подумал последний духовник Романовых. Он не знал, что именно, как не знал этого и никто другой. Рудольф Лахер, австриец, состоявший при Юровском, последнем коменданте Ипатьевского дома, видел царскую семью в ночь, когда они исчезли с лица земли. Когда они спускались по лестнице, вспоминал он, девушки плакали. Полчаса спустя раздались выстрелы.

«Они знали, что умрут, – с горечью заметила спустя многие годы сестра царя Ольга Александровна. – Я в этом уверена». Очевидно, она была права. После отступления большевиков из Екатеринбурга среди вещей Анастасии было найдено сочинение, которое она начала писать для своего преподавателя английского языка. Тема сочинения – стихотворение Браунглига «Эвелина», чья фамилия звучит в данном случае печально – «Хоуп» (надежда). Взаперти, отрезанная от мира в шестнадцать лет, великая княжна оставила краткое содержание стихотворения.

«Девушка по имени Эвелина только что умерла. Она лежала в гробу, очень красивая. Все ее вещи остались на своих местах, ничто не изменилось, даже сорванный ею цветок стоял в стакане, но уже начинал вянуть. Когда она умерла, ей было шестнадцать лет. Один человек, который никогда ее не видел, но хорошо ее знал, любил ее. Он не мог рассказать ей о своей любви, а теперь она была мертва. Но он все-таки думал, что когда он и она встретятся в будущей жизни, когда бы это ни случилось, то...»

То... что?

«Прощай, – писала Анастасия подруге зимой 1917 года. – Не забывай меня».

Утверждается, что она погибла в подвале Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 года в разгар красного террора. Следователи из Белой армии пришли к заключению, что вся царская семья и четверо оставшихся при них (доктор Боткин, горничная, повар и лакей) были застрелены, закопаны и забиты их тюремщиками по приказу, якобы поступившему от Ленина, чтобы помешать освобождению их белыми. В соответствии с официальным отчетом, впервые опубликованным монархистами в Париже в 1924 году, трупы были вывезены в лес, разрублены, залиты бензином и серной кислотой и сожжены. А затем их прах бросили в заброшенную шахту. Следователь Николай Соколов категорически заявил, что ни один из членов царской семьи не мог спастись из этой кровавой бойни.

В отчете Соколова было особо упомянуто, что Анастасия уцелела после первого залпа и ее прикончили штыками и прикладами. Помощник Соколова пишет: «Когда дым немного рассеялся и убийцы начали осматривать тела, они обнаружили, что великая княжна Анастасия жива и невредима. Она упала в обморок, когда началась стрельба, и таким образом пули не попали в нее. Когда убийцы дотронулись до нее, она пришла в себя, увидев вокруг лужи крови и трупы родных, закричала. Ее убили». Племянник императрицы Александры Федоровны лорд Маунтбэттен выразился еще более четко. «Моя кузина Анастасия, – заявил он, – лежа на полу, получила восемнадцать штыковых ударов». А биограф сестры царя пишет: «Восемнадцать следов от штыковых ударов остались на том месте, где обезумевшая от ужаса юная девушка корчилась в предсмертных судорогах». Так заканчивает рассказ о великой княжне Анастасии официальная история. Она погибла, по словам одного преданного монархиста, «хрупкая и прелестная, как распускающийся цветок, в блаженной невинности детства и предвкушении прекрасной юности».

Образ екатеринбургского подвала навис гробовым покровом над королевскими домами Европы, когда один за другим рухнули троны Австро-Венгрии, Пруссии, Саксонии, Гессена и многие другие, и иностранной родне Анастасии нужно было задуматься над смыслом и уроком ее трагической кончины. «Нам сообщили, что это произошло, – говорил ее кузен лорд Маунтбэттен в момент откровенности, – во всяком случае, мы этого ожидали, у нас не было оснований в этом сомневаться; доказательств могло и не быть, но в то время никто и не нуждался в них. Во что еще могли мы верить, как не в самое худшее, что история и подтвердила? Какая могла быть альтернатива?»

Часть первая Фройляйн Унбекант

Дальдорф

Позже неизвестная всегда настаивала, что «сломила» ее именно психиатрическая клиника – не потеря семьи и родины и даже не покушение на нее, но эти два года, которые она провела в Дальдорфе в обществе десятка неопрятных, бормочущих, плевавшихся сумасшедших. До этого, по ее словам, она была «другим человеком». Она знала, что ей нужно. По прибытии в Берлин, надеясь найти сестру своей матери, она направилась прямо к резиденции прусских королей. Только в последний момент она сообразила, что там может не найтись никого, кто бы ее знал, и что нельзя просто постучать в дверь и назвать себя. Впоследствии она пыталась объяснить, что никогда в жизни не бывала нигде без сопровождения. «Можете вы понять, – спрашивала она, – что значит вдруг осознать, что всё потеряно и ты одна на свете? Можете вы понять, почему я сделала то, что сделала?» Она остановилась на полуслове. «Я не понимала, что я делала».

Она не знала, как попала на Бендлерский мост и на что рассчитывала, падая в воду с небольшой высоты. Самого падения она не помнила, помнила только, что смотрела на воду и думала о том, что вода всегда имела для нее особую притягательную силу, что ей всегда хотелось знать, «что там на дне». С того момента молодая женщина уже не имела влияния на дальнейшие события. Она очнулась насквозь промокшая, наглотившаяся воды, дрожащая от холода, а вокруг была суета. Повсюду были полицейские, собралась толпа, люди кричали. Она вдруг поняла, что они кричат на нее, и тогда же, лежа на набережной Ландверского канала, она приняла решение не отвечать на вопросы. Было 9 часов вечера, вторник, 17 февраля 1920 года.

Ее завернули в одеяло и отнесли в участок, где дали выпить чего-то горячего и крепкого. Потом начались вопросы. Кто вы? Что вы делали? Вы поскользнулись? Вас толкнули? Вы сами бросились в воду? Зачем вы это сделали? Кто вы? Где ваши документы?

Неизвестная молодая женщина сидела в углу, дрожа, не говоря ни слова, бледная как полотно, в полуобморочном состоянии. Было ясно, что она смертельно испугана. Только когда полицейские снова начали кричать и пригрозили ей судебным преследованием, она выказала какие-то признаки внимания. «Я ни о чем не просила», – сказала она.

Она выговорила это по-немецки, правильно, но приглушенно, «с явным иностранным акцентом».

В тот вечер ее перевезли в палату Елизаветинской больницы на Лютцовштрассе, где она оказалась с двадцатью другими женщинами, находившимися там за счет муниципалитета. Сестры сняли с нее одежду, вытерли насухо, одели в белый халат и составили опись ее вещей: черная юбка, черные чулки, полотняная блузка, нижнее белье, высокие сапоги на шнуровке и тяжелая бесформенная шаль. Но ни кошелек, ни документов, никаких удостоверений личности. Сестры искали монограммы, прачечные метки, какие-то ярлыки, всё, что могло бы помочь полиции, но никакой информации не обнаружили, одежда неизвестной казалась исключительно домашней работы. Больше ничего не оставалось делать. Ей дали возможность уснуть.

На следующее утро доктора и полиция нашли ее окрепшей, более оживленной, по-прежнему испуганной, но в то же время державшейся несколько вызывающе. Она заявила, что не скажет им, кто она такая, кто ее родственники, откуда она и чем зарабатывает на жизнь. Им лучше оставить ее в покое. Это была не просьба, но требование, и когда вопросы продолжи-

лись, «на всех языках», она просто отвернулась к стене, закрыла лицо одеялом и больше ни слова не сказала. Ни слова.

Эта сцена повторялась изо дня в день шесть недель. Никакими усилиями нельзя было заставить неизвестную изменить свое поведение. Ей объяснили, что самоубийство – это преступление и ей так легко не отделаться, что лучше ей теперь сказать врачам, кто она такая, что нельзя позволять себе такое упрямство и ребячество, что ее семья о ней наверняка очень беспокоится. Ничто не помогало. Наконец докторам удалось настойчивыми вопросами выудить у нее признание, что она «работница».

Где же она работала?

Ответа не последовало.

Что это была за работа?

Молчание.

В конце марта доктора отправили ее в психиатрическую клинику в Дальдорфе, так как просто не знали, что с ней делать. Диагноз был «меланхолия» – или, точнее, «душевное заболевание депрессивного характера». Относительно ее общего психического состояния ничего сказано не было. Молодая женщина появилась в Дальдорфе, в пригороде Берлина, как «фройляйн Унбекант» (неизвестная) и заняла место в четвертом отделении, в палате «Б», в низеньком плоском здании, предназначенном для «спокойных больных». В палате было еще четырнадцать женщин. Ни одна из них, кроме фройляйн Унбекант, не была, строго говоря, спокойной.

При осмотре, проведенном в клинике 30 марта 1920 года, был зарегистрирован ее вес – 110 фунтов (около 50 кг) и рост – 5 футов 2 дюйма (около 160 см). Дальше в описании говорилось: «Очень сдержанна. Отказывается назвать имя, возраст и занятие. Сидит в упрямой позе. Отказывается что-либо заявить, утверждает, что у нее есть на это основание и если бы она захотела, то давно бы уже заговорила... Доктор может думать, что хочет; она ему ничего не скажет. На вопрос, бывают ли у нее галлюцинации и слышит ли она голоса, она ответила: “Вы не очень-то сведущи, доктор”. Она признает, что пыталась покончить с собой, но отказывается назвать причину или дать какие-нибудь объяснения».

К врачам в Дальдорфе фройляйн Унбекант отнеслась с тем же смешанным чувством страха и презрения, которым отличалось ее поведение в Елизаветинской больнице. При одном виде белого халата она спряталась под одеяло, а когда ее убедили открыть лицо, врачи заметили, что она избегает встречаться с ними взглядом. Особенно странно было ее сопротивление первому физическому осмотру.

Казалось, она страдала, когда врачи осматривали ее тело, и им скоро стало ясно почему: тело ее было покрыто шрамами («многочисленные рваные раны», гласил протокол осмотра). Врачи отметили еще одно: она не была девственницей. Для девушки, «не достигшей двадцатилетнего возраста», это было немаловажное обстоятельство, и врачи решили испробовать новый подход. Не послать ли им за ее «женихом»?

Последовала бурная реакция: *Nichts von alledem!* (Ничего подобного!)

Ну тогда в чем же дело? Как можно ей помочь, если она ничего не говорит?

«Я больше ничего не скажу!»

Но на следующий день фройляйн Унбекант сдалась и признала, что боится за свою жизнь: «Дает понять, что не хочет назвать себя, опасаясь преследования. Впечатление сдержанности, порожденной страхом. Больше страха, чем сдержанности».

И так всё это продолжалось день за днем, постоянно и безрезультатно.

Иногда врачам казалось, что они чего-то добились. Фройляйн Унбекант назвалась работницей? Это правда?

Молчание. Кивок.

А ее семья? Они тоже из рабочей среды? Может быть, она расскажет что-нибудь о своей семье?

Хорошо. Ее родители умерли. Мать умерла «недавно». Братьев и сестер у нее нет. У нее вообще нет родных.

Вообще никого?

Никого.

Она в этом уверена?

Молчание.

После еще двух месяцев этой игры в кошки-мышки врачи из Дальдорфа вызвали берлинских полицейских и сообщили им, что потерпели неудачу. Они попросили полицию предпринять серьезные усилия, чтобы установить личность этой женщины, и добавили, что сами они не в состоянии этого сделать. Таким образом, в начале июля фройляйн Унбекант вывели из палаты в холл, где у нее сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. Увидев устремленные на нее объективы, она начала изо всех сил сопротивляться, «зажмурила глаза», и ее пришлось силой удержать на месте.

Ее сфотографировали анфас и в профиль и отпустили в палату, всю в поту.

Фотографии и отпечатки пальцев были разосланы в Штутгарт, Гамбург, Мюнхен, Дрезден – во все уголки Веймарской республики. Тем временем полиция наводила справки и поблизости. Все больницы и психиатрические клиники Берлина были обследованы на предмет выявления выписанных или исчезнувших пациентов, чье описание совпадало с наружностью фройляйн Унбекант. Взглянуть на нее в Дальдорф приезжали матери исчезнувших дочерей и мужа пропавших жен. Ее уже посетил брат некоей Марии Андреевской. А когда ее в упор спросили, не является ли она другой Марией, по фамилии Ваховяк, недавно пропавшей в городе Позен, она рассмеялась: «В какую игру вы играете со мной, доктор? Желаю вам удачи».

Никто не осудил берлинскую полицию, когда она прекратила дело. Исчерпав свои ресурсы, она не ожидала, что усилия в других частях Германии принесут плоды. Начать с того, что не верили, что неизвестная – немка. Врач Елизаветинской больницы предположил, что она родом из Баварии, но в главном управлении с этим не согласились. В дальдорфской клинике осталась запись: «Известно, что она говорила по-русски с ухаживавшими за ней сестрами».

Когда полиция удалась и вопросы прекратились, наступила реакция. Старшая сестра в Дальдорфе вспомнила, что фройляйн Унбекант в первые дни ее пребывания в клинике находилась в состоянии тяжелой депрессии. По целым дням ее невозможно было убедить отвернуться от стены. Она не ела и не пила. Она не могла спать. Стоило ей заснуть, ее начинали мучить кошмары. Она закрывалась одеялом с головой и укладывала подушки, образуя нечто вроде баррикады; сестрам приходилось изгибаться, чтобы поговорить с ней. Они называли ее *leidend* – страдающая. «Страдалица», «страдальческий тип».

Теоретически все больные в Дальдорфе должны были работать, заниматься чем-то – стирать и чинить белье, убирать палаты и территорию, – но фройляйн Унбекант редко в этом участвовала, и никому в голову не приходило ее заставлять. Это означало бы нарушить ее «неприкосновенность». Сестры затруднились бы объяснить почему, но они никогда не пытались принуждать фройляйн Унбекант делать что-то, что она не хотела. Она существовала отдельно от других больных. Она была *не такая*, как они, и не принимала участия в их нудной рутинной работе. Каждое утро ее соседки с трудом выстраивались в конце палаты и выходили на прогулку. Фройляйн Унбекант никогда не ходила с ними. Только когда врачи настояли, чтобы она гуляла в саду для здоровья, она согласилась, но на своих собственных условиях. Она выжидала, пока остальные вернутся, и только тогда выходила «одна, в сопровождении сестры».

Имеется фотография фройляйн в саду Дальдорфа на втором году ее там пребывания, когда у нее несколько улучшилось настроение и она подружилась с сестрами. Девушка слегка отвернулась от объектива, одна рука придерживает неуклюжий больничный халат, на лице – абсолютная покорность. Лицо могло бы показаться миловидным, не будь оно таким измученным. Профиль мягкий и выразительный, но щеки одутловаты, и волосы стянуты назад, откры-

вая слишком высокий лоб. Сестры слышали, что фройляйн Унбекант выщипывала волосы надо лбом. Они также слышали, что когда в клинике ей удалили семь или восемь зубов – фройляйн Унбекант постоянно страдала зубной болью, – она нисколько не возражала. Одна из сестер утверждала, что один совершенно здоровый передний зуб был удален по собственной просьбе фройляйн Унбекант, желавшей изменить свою внешность. У нее это была навязчивая идея: чтобы ее не нашли, нужна полная анонимность, лучше вообще исчезнуть. Но в конце концов она не выдержала. Вероятно, ей можно будет покинуть когда-нибудь клинику, но не раньше, чем «времена изменятся». А почему? Потому что ее могут убить. Она часто говорила, что боится «газет», «прессы». И вот что сестры в Дальдорфе хорошо запомнили: «Она боялась, что ее узнают и вышлют в советскую Россию».

Фройляйн Унбекант много чего порассказала сестрам за последующие недели и месяцы, убедившись, что они не обманут ее доверия. Она начала просить у них журналы и книги – неважно какие, всё, что у них было, – и проводила время за чтением в маленькой библиотеке Дальдорфа.

Сестры признали в ней неглупую женщину, «любезную, учтивую, благодарившую за всякую мелочь». Она хорошо образована, говорили они, хорошо воспитана, обходительна, опрятна, чистоплотна, очаровательна. «Ее изысканные манеры составляли приятный контраст с недисциплинированностью других больных, – вспоминала одна из сестер. – Она поразила нас своим поведением. По ее осанке, манере говорить можно было заключить, что она из хорошего общества... Она производила впечатление аристократки. Временами она бывала несколько высокомерна...»

Сестры категорически отрицали, что их пациентка невменяема, хотя доктора и писали в истории болезни «симптомы психопатии» и называли ее «несомненно ненормальной». Сестры считали, что доктора ничего не понимают, так как верят фройляйн Унбекант на слово. В этой девушке, говорившей о своей любви к животным и цветам, «не было и следов безумия». Она рассказывала о путешествиях по Скандинавии и всё чаще присоединялась к сестрам во время ночного дежурства, когда ей не удавалось заснуть. Когда заканчивался унылый однообразный ужин и в палате тушили свет, а больные затихали, фройляйн Унбекант вставала с постели и бесшумно скользила по палате. «Какие у вас красивые платья», – говорила она дежурной сестре. А потом она усаживалась, и они беседовали – о погоде, о политике, о докторах, о жирной пище, о книгах, которые она прочла, и о людях, чьи фотографии она видела в газетах. Иногда они даже говорили о прошлом фройляйн Унбекант. Сестры всегда могли предугадать наступление этого момента. На лице ее появлялось страстное и тоскливое выражение, и ее поразительные аквамариновые глаза темнели, когда она произносила: «Сегодня я видела во сне маму».

Сестры в Дальдорфе были решительно склонны согласиться с диагнозом, поставленным в конце второго года пребывания фройляйн Унбекант в клинике: *Einfache Seelenstörung* («обыкновенное психическое расстройство»). Одна из трезвомыслящих сестер считала, что «у фройляйн Унбекант была склонность к несбыточным мечтам, воздушным замкам: она воображала, что, уйдя из клиники, она купит усадьбу и будет ездить верхом. Ей нравился этот вид спорта».

Иногда ее высказывания были куда более удивительными: «Она много знала о германском императоре и однажды заговорила о кронпринце так, словно лично была с ним знакома».

Было ли так на самом деле? Сестры недоумевали. Их сомнения еще более усилились, когда она назвала себя «работницей» – она, с ее «тонкими, нежными руками», «изнеженными манерами» и «повелительным видом». Они научились уважать ее желания и не удивились, когда за ней приехали русские монархисты. В минуту откровенности она сказала им, что это обязательно произойдет. «Если бы люди знали, кто я, – говорила она, – я бы не находилась здесь».

Никто не знает, что заставило фройляйн Унбекант уступить; почему после почти двух лет в Дальдорфе она неожиданно заявила, что она – младшая дочь императора Николая II.

Вследствие ее скандальной известности некоторые не затруднялись делать от ее имени собственные заявления, и вскоре никто не мог проследить точную последовательность событий в Дальдорфе, но все причастные к ним лица согласны в одном: скандал, последовавший за обнаружением подлинной личности фройляйн Унбекант, не был делом ее рук. Она не искала известности, и ее иллюзии, если это были иллюзии, вряд ли могли способствовать ее скорому освобождению из клиники. Это ей должно было быть известно.

Многие впоследствии считали, что сестры могли пресечь всю эту историю в зародыше, если бы они обратились к врачам или к полиции и сообщили о том, что им стало известно. Сестры были на этот счет другого мнения. Им потребовалось много времени, чтобы завоевать доверие неизвестной. Они не желали его утратить как раз тогда, когда она начала раскрываться перед ними.

Поэтому они и старались убедить ее, что страхи ее напрасны. Они говорили ей, что в Берлине она в безопасности, что «особы избранной крови свободно передвигаются по всей стране и ничего с ними не случается», но им так и не удалось убедить ее. «Здесь много русских шпионов, – говорила фройляйн Унбекант. – Клиника – лучшее убежище. Если бы в России не произошла революция, всё было бы по-другому».

Сестры в Дальдорфе никогда не сомневались, что фройляйн Унбекант – русская. И дело было не в ее «восточном» акценте и не в том, что во сне она говорила на разных языках. «Она говорила по-русски как русская, – свидетельствует Эрнст Бухольц, бывшая учительница немецкого языка, жившая некогда в России, – а не как выучившая русский иностранка». Сестра Бухольц первой ухаживала за фройляйн Унбекант и впоследствии вспоминала событие, имевшее место уже летом 1920 года:

«Во время ночных дежурств у меня была возможность поговорить с ней, так как она обычно страдала бессонницей... Однажды вечером я рассказала ей, что приехала из России, говорила о соборе Василия Блаженного в Москве и вообще о русских делах. Она кивала и сказала, что знает всё это... Я спросила ее, знает ли она русский. Она отвечала утвердительно, и мы заговорили с ней по-русски. Она говорила без ошибок, полными связными предложениями, без всяких затруднений... У меня сложилось четкое впечатление, что она прекрасно знает русский язык, ситуацию в России и особенно военные проблемы».

Весь остальной персонал мог подтвердить, что фройляйн Унбекант говорила о России уверенно и точно. «Она обнаружила такое основательное знание географии, – говорила одна из сестер, – и такое владение политическими вопросами! Я сразу могла понять, что она из самого высшего общества». И она имела разительное сходство с членами русской царской семьи. По крайней мере, так казалось сестрам, сравнивавшим ее внешность с фотографиями царской семьи в одном из иллюстрированных журналов. Много таких журналов валялось на столах в клинике, некоторые из них еще 1914 года, а в других, более свежих, сообщалось сенсационное известие об убийстве царя и его семьи в Екатеринбурге. Внимание сестер сразу же привлекла фотография четырех царских дочерей. Они внимательно ее рассматривали, обсуждали и, наконец, решили поставить вопрос прямо: они показали журнал фройляйн Унбекант.

Сестра Берта Вальц утверждала, что при виде фотографий «поведение фройляйн Унбекант заметно изменилось». Она «очень опечалилась, побледнела и сказала: “Я всё это знаю!”» Собранный с духом, сестра Вальц указала на одну из великих княжон и сказала, что эта царская дочь, предположительно, спаслась. Фройляйн Унбекант поправила ее и сказала: «Нет, не эта, но другая».

Которая? Сестра Вальц очень хотела узнать, но фройляйн Унбекант ничего не сказала. «На следующий день она была в полном изнеможении и в депрессии».

Сестра Вальц убеждена, что то был первый раз, когда фройляйн Унбекант увидела фотографии царской семьи, но, в соответствии с еще одним свидетельством, это было не так. Теа

Малиновская, недавно поступившая ночная сестра, вспоминала, как однажды вечером к ее столику подошла фройляйн Унбекант. Этот случай застал ее врасплох:

«Посидев со мной с полчаса, она сказала, что хочет показать мне кое-что. Подойдя к постели, она достала из-под матраса номер “Берлинер Иллюстрирте”. На обложке была фотография царской семьи. Положив передо мной журнал, она спросила, не вижу ли я что-то особенное. Я пристально разглядывала фотографии, не понимая, о чем идет речь. Однако, присмотревшись, я заметила отчетливое сходство между фройляйн Унбекант и младшей дочерью царя. Я притворилась, что не вижу ничего особенного. Тогда она указала на молоденькую девушку и спросила, неужели я ничего не замечаю. Я сказала: нет. “Разве вы не видите сходство между нами?” – спросила она. Я была вынуждена признать, что вижу. Вдруг она очень расстроилась. Я спросила ее, не она ли это. Она отвернулась, не желая продолжать. Я сказала ей, что не следовало заходить так далеко, если она не готова рассказать мне остальное».

Именно тогда, осенью 1921 года, фройляйн Унбекант открыто заявила, что она – ее императорское высочество великая княжна Анастасия Николаевна. Сестра Малиновская вспоминает, что во время последовавшего между ними разговора фройляйн Унбекант была «очень расстроена». Она говорила о своих сестрах, о зашитых ими в одежду драгоценностях, о последней ночи в Екатеринбурге, когда «горничная бегала с подушкой в руках, пряча в ней лицо и пронзительно крича», и о «главаре убийц, подошедшем к ее отцу, издевательски размахивая револьвером... и выстрелившем в него».

В газетной статье, опубликованной в 1927 году, Теа Малиновская писала: «Она взволнованно просила меня бежать с ней в Африку... Когда я возразила, что там идет война, она сказала, что мы можем вступить во французский Иностраннный легион в качестве сестер милосердия и что там мы будем в большей безопасности, чем здесь у евреев... Она была убеждена, что врачи-евреи в клинике состоят в заговоре с большевиками и однажды они ее предадут». Сестра Малиновская поняла особый смысл этих слов. В то время евреев, вечных козлов отпущения в Европе, обвиняли не только в организации большевистской революции в России, но и непосредственно в убийстве царской семьи в Екатеринбурге. Убийство Романовых впоследствии максимально использовалось нацистами в период их прихода к власти в Германии. Поэтому в качестве «великой княжны Анастасии» фройляйн Унбекант не было необходимости объяснять или оправдывать свой антисемитизм.

Вернувшись домой, Теа Малиновская рассказала о беседе с фройляйн Унбекант своему жениху, врачу. В ответ она встретила лишь недоумение: а что еще она рассчитывала услышать в сумасшедшем доме? Дело могло бы на этом и закончиться, если бы в Дальдорф не поступила Клара Пойтерт, «высокая, худая, костистая женщина» пятидесяти одного года, то ли портниха, то ли прачка – это так и не было установлено.

До Первой мировой войны она жила в России. Клара сама впоследствии утверждала, что служила в Москве гувернанткой, но, по другим сведениям, она также была и мелкой немецкой шпионкой, надежным источником великосветских сплетен. В любом случае, она слишком много пила, слишком много болтала и имела раздражающую привычку драться, когда люди говорили что-то, ей не нравившееся. «Вы что, думаете, я ненормальная? – спрашивала она. – Я нормальная». После того как благодаря фройляйн Унбекант она получила известность, Клара с большой гордостью демонстрировала медицинское свидетельство, где говорилось, что «она не сумасшедшая, но только с отклонениями».

Клара поступила в Дальдорф в конце 1921 года, после того как обвинила своих много вытерпевших от нее соседей в краже денег. В клинике она вела себя беспокойно, скучала и злилась. Довольно скоро она привязалась к стройной девушке, лежавшей в другом конце палаты. Фройляйн Унбекант совершенно заворожила Клару с момента ее поступления в клинику. Это была «важная персона», вспоминала она. «Все в палате это знали». Было и еще кое-что. В докладе русских монархистов от июня следующего года говорится, что Клара «впервые встре-

тила неизвестную в Дальдорфе и лицо девушки показалось ей знакомым. Она (Клара) хотела заговорить с ней, но ее первая попытка не удалась, поскольку незнакомка отказалась отвечать. Через некоторое время Клара снова обратилась к ней со словами: «Ваше лицо мне знакомо, вы не из простых». Испуганно на нее взглянув, неизвестная прижала палец к губам, призывая ее к молчанию. Вскоре после этого она сама подошла к Кларе и подружилась с ней.

Неясно, почему фройляйн Унбекант решила, что может доверять Кларе Пойтерт. Возможно, одиночество взяло верх над опасениями. «Мы еще больше сблизились, обнаружив, что были единственно нормальными людьми среди безумных, – вспоминала Клара. – Мы беседовали и даже шутили». Возможно, фройляйн Унбекант искренне расположилась к Кларе, привлеченная ее добродушием и материнской заботой, которую Клара умела проявлять в свои благополучные дни. Возможно, что Клара, в состоянии возбуждения, много ей наговорила. Клара тоже видела в газетах фотографии царской семьи. В одном номере «Берлинер Иллюстрирте Цайтунг» была статья «Правда об убийстве царя». Под фотографией великих княжон Татьяны, Марии и Анастасии Клара прочла о слухе, пронесшемся по Сибири в 1918 году и теперь упорно державшемся в Европе: «Правда ли, что одна из царских дочерей жива?»

Клара не замедлила сделать собственный вывод. По одному из рассказов, она подбежала к постели фройляйн Унбекант, сунула ей в лицо газету и закричала во весь голос: «Я вас узнала! Вы – великая княжна Татьяна!»

«Татьяна», по этой версии, не подтвердила и не опровергла это заявление, но заплакала и закрыла лицо одеялом.

Тут всё и началось; вся палата это слышала. В конце концов фройляйн Унбекант поверила, что встреча с Кларой

Пойтерт может обернуться для нее благом. Ходили слухи, что пациентов палаты «Б» переведут в другую клинику, где-то в глуши Бранденбурга. Дальдорф внезапно перестал быть надежным убежищем. Зная, что ее болтливую соседку скоро выпишут, «и явно страдая от необходимости обращаться к ней за помощью, фройляйн Унбекант взяла дело в свои руки». «Моя бабушка живет в Дании, – рассказала она Кларе. – Есть еще и тетка в Германии». Клара услышала имя, произнесенное на французский лад: «Ирен». «Напишите ей, – сказала фройляйн Унбекант. – Она знает, что делать». Но она умоляла Клару быть осторожной. Следует опасаться не только людей со стороны, но и тех, кто поблизости. Снова возник фантом «врачей-евреев». Мысль о том, что они могут сделать с ней в более отдаленном месте, говорила фройляйн Унбекант, приводит ее в ужас.

Возбужденная этими откровениями, Клара обещала быть осторожной. Состоялось еще несколько тайных бесед, разглядывание фотографий в «Берлинер Иллюстрирте», еще призывы к осторожности, и затем Клару отпустили. Она покинула Дальдорф 20 января 1922 года, и началось дело «Анастасии».

Анастасии, а не Татьяны.

Потом все удивлялись, почему сестры в Дальдорфе не сделали ничего, чтобы прояснить путаницу, возникшую после возвращения Клары Пойтерт в Берлин. Ответ был слишком прост, чтобы многие могли поверить: фройляйн Унбекант просила не говорить о ней, и они серьезно отнеслись к данному обещанию, как и положено медсестрам. Никто не мог поставить им в вину и минутную нерешительность. История фройляйн Унбекант была фантастической.

Через шесть недель после того, как Клара Пойтерт подняла крик, фройляйн Унбекант подозвала сестер к своей постели. Они никогда еще не видели ее в таком возбуждении. «Это шпионаж, – кричала она. – Что известно врачам? Всё это попадет в газеты. Газеты!» Фройляйн Унбекант произнесла это слово с душевной мукой. Потом, как вспоминала одна из сестер, «она спросила меня в сильном волнении, правда ли, что она похожа на одну из царских дочерей с фотографии, и добавила: “Эта фотография могла погубить меня!” Я подтвердила сходство, но

сказала, что фройляйн Унбекант выглядит старше, чем девушка на снимке. На что она сказала: «Да, это из-за отсутствия зубов...» Потом она спросила: «Сколько, вы думаете, мне лет?» Когда я ответила, что около тридцати, она засмеялась: «Нет, я не такая старая»».

Сестра воспользовалась удобным моментом. Взяв «Берлинер Иллюстрирте», она указала на девушку, на которую так походила фройляйн Унбекант, и спросила: «Как ее зовут?»

Без малейшего колебания пациентка отвечала: «Анастасия».

Зимой 1922 года в Германии находилось почти полмиллиона русских эмигрантов. Более ста тысяч обосновались в Берлине, превратив его в крупнейшую русскую колонию. В городе были русские магазины, русские рестораны, церкви, театры, клубы, газеты, благотворительные организации и кинотеатры. Там было и бесчисленное количество политических объединений – монархистских, демократических, социалистических, даже коммунистических. Под эгидой германского Союза эмигрантов – единственной организации, которой Веймарским правительством было дано право представлять лишенных отечества людей, группы самой разнообразной политической ориентации устраивали свои собрания и строили планы на будущее. В то время большинство изгнанников верили, что советский режим не продержится долго, и хотели быть готовыми к моменту его падения. Никто не выражал большей готовности, чем те, кто меньше всех понял русскую революцию: монархисты.

В численном отношении монархисты не составляли большинство в эмигрантских политических кругах. Они даже не составляли единую партию. В своем собственном представлении, однако, и в представлении тех, в чьей стране они жили, монархисты были душой эмиграции, хранителями православия, символом, буквально всем тем, что называлось Святой Русью. В мае 1921 года в баварском городе Бад-Райхенхалле был созван конгресс монархистов для обсуждения вопроса о наследнике трона. Сам по себе факт созыва этого конгресса фактически означал признание того, что Николая II, его сына, цесаревича Алексея, и брата, великого князя Михаила, не было в живых, но ни один член семьи Романовых не явился в Бад-Райхенхалль подтвердить молчаливое согласие на этот счет. Это был тяжелый удар для конгресса, тем более что ряды монархистов уже были серьезно расколоты по вопросу о престолонаследии.

В чрезвычайных обстоятельствах революции и эмиграции проблема персоны следующего русского царя выходила за пределы чисто династических соображений. Во Франции внушительный великий князь Николай Николаевич пользовался полной преданностью остатков императорской армии, чьим главнокомандующим он некогда являлся; в то время как в Германии, в Кобурге, двоюродный брат Николая II Кирилл Владимирович готов был заявить свои права на престол. Речь шла о выборе между популярностью и международной известностью, на что опирались сторонники Николая Николаевича, и законностью, которую отстаивал Кирилл вместе с правыми радикалами.

Оказавшиеся в затруднительном положении, делегаты в Бад-Райхенхалле смогли решить только два вопроса. Во-первых, должен быть создан «Высший монархический совет» со штаб-квартирой в Берлине под руководством Николая Евгеньевича Маркова, внимательного и умного бывшего члена Государственной думы, известного в эмигрантских кругах как «Марков-второй». Было также решено, что будущий царь должен быть из семьи Романовых, то есть, что не должно быть создано новой династии. Выражались горячие надежды, что выбор осуществят не монархисты, а уцелевшие члены семьи. Объявив эти решения, делегаты разъехались по городам и весям Европы, чтобы пререкаться, интриговать друг против друга, составлять хартии и манифесты и дожидаться избрания престолонаследника.

Почти год спустя, в воскресенье 6 марта 1922 года, капитан Николай Адольфович фон Швабе, молодой русский эмигрант прекрасной наружности и с безупречной военной выправкой, сидел во внутреннем дворике русской посольской церкви на Унтер-ден-Линден, торгуя монархической литературой. До революции фон Швабе был капитаном гвардии и служил в личной охране вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Теперь в Берлине он стал

управляющим «Двуглавого орла», профашистского яростного антисемитского правого органа Высшего монархического совета. Капитан фон Швабе имел обыкновение приходить в церковь каждый день для распространения изданий Совета: наспех написанные истории гражданской войны, новые призывы к оружию, религиозные трактаты и памятные фотографии царской семьи. В тот день высокая нервная женщина, «очень бедно одетая», подошла к его столу и начала рыться в разложенном товаре. Прошло довольно много времени, прежде чем она спросила по-немецки: «Что вы делаете с этими фотографиями?»

Швабе был озадачен. Странно было видеть в церкви немку, да еще явно проявлявшую интерес к русской печатной продукции. Он сказал женщине, что работает в монархическом издательстве. «Она рассматривала фотографии царской семьи, – вспоминал Швабе, – а затем обратилась ко мне с вопросом: “Могу я вам доверять?”»

Это была Клара Пойтерт. «Она явно хотела мне что-то сказать», – продолжал Швабе. Но испытание для него еще только начиналось. Клара желала знать: предан ли он трону, походят ли на себя царские дочери на фотографиях, как он относится к евреям. Недоумевающий Швабе отвечал, что торгует антисемитскими материалами и «из этого можно сделать выводы о его отношении». В доказательство Швабе достал из-под воротника маленькую металлическую свастику, которую он носил на шее.

К тому времени служба закончилась, и двор наполнился людьми. Кларе Пойтерт пришлось подождать с ее рассказом. Когда она, наконец, закончила свое повествование, то и дело прерываемое покупателями, капитан был поражен. «В психиатрической больнице, под Берлином, находится женщина, очень похожая на великую княжну Татьяну. Я сама убеждена, что это она. Я так считаю по ее манерам, благородным чертам лица и форме рук». Сейчас, глядя на фотографии царских дочерей, Клара еще более укреплялась в своем убеждении. «Да, – воскликнула она. – Это она. Какое сходство!» Конечно, капитан фон Швабе,

приближенный вдовствующей императрицы, мог бы лучше разобраться. Почему бы ему не съездить в Дальдорф и самому не убедиться?

Швабе желал услышать больше, но псаломщик уже готовился запираť ворота. Да, отвечал он Кларе, собирая свой товар, он съездит в Дальдорф. Он побывает там в ближайший день для посещений и ни слова не скажет врачам. Он понимает, «кто они такие», и они попытаются посадить под замок его самого, если узнают, зачем он приехал. И, конечно, он понимает, что великая княжна «очень застенчива и всех боится». Швабе и Клара обменялись адресами, и она ушла. Но, уходя, она обернулась: «Вы сделаете что-нибудь?»

Да, повторил Швабе, он, конечно, что-нибудь сделает.

Впоследствии капитан фон Швабе охарактеризовал этот разговор как «странный». Он имел в виду при этом не только известие о «великой княжне». Сама Клара Пойтерт вызывала у него недоумение. Всё в ней было странно: внешность, нервозность, мешковатое платье, обвислая шляпа, наконец вовлеченность в исключительно российскую проблему. У Швабе были основания подозревать провокацию хотя бы потому, что было уже много подобных случаев. За четыре года после исчезновения в Екатеринбурге царской семьи «великие княжны» появлялись по всему миру. Только прошлой осенью в Париже возникла некая мадемуазель Бердич, называвшая себя великой княжной Анастасией. Ее никто не принял всерьез, но при всем при том неразбериха не прекращалась. И вот появилась еще одна претендентка. Швабе не был уверен, что ему следует делать.

Обсудив всё вечером с женой Алисой, капитан фон Швабе решил не упоминать нигде о «Татьяне», пока не увидится с ней лично. Но в понедельник утром, припомнив, что говорила ему Клара о врачах в Дальдорфе и «ввиду исключительной таинственности всей этой истории», Швабе решил запастись свидетелем. Он позвонил другу Францу Енике и попросил его поехать с ним в Дальдорф. По профессии Енике был инженером-авиатором, а также управляющим Германо-Российского клуба, еще одной монархистской организации с антисемитскими

настроениями. Швабе пригласил его по двум причинам: во-первых, он был немец и ему было легче отвлечь врачей в случае необходимости, и, во-вторых, у него было разрешение на ношение оружия. Выслушав рассказ Швабе, Енике согласился встретиться с ним у него в квартире в среду.

Они еще не кончили разговор, когда раздался стук в дверь. Швабе открыл. На пороге стояла Клара Пойтерт («в том же старом платье»). После минутной паузы она спросила: «Вы действительно едете?»

Швабе проворно ввел ее в квартиру и усадил. Вопросы, которые он желал задать накануне, так и посыпались. Каким образом Клара познакомилась с фройляйн Унбекант? Почему она думает, что неизвестная – великая княжна? Видела ли когда-нибудь Клара великих княжон? Просила ли ее фройляйн Унбекант обратиться за помощью к русским монархистам? Не говорила ли Клара об этом кому-то еще?

О да, отвечала Клара, она и в самом деле рассказала кое-кому об этом. Она написала два письма тетке великой княжны, принцессе Прусской Ирене и ее мужу, принцу Генриху. Она сохранила почтовые квитанции, но ответа не получила. Затем, поскольку великая княжна говорила, что ее бабушка живет в Дании, Клара побывала в датском посольстве и обратилась еще к «нескольким частным лицам», но никто ее всерьез не воспринял. Да, она трижды видела великих княжон на расстоянии в Москве. А что до просьбы великой княжны о помощи, то капитан должен понять, в чем тут дело: единственные, кого великая княжна боится больше, чем евреев, – это русские. Она «постоянно опасается за свою жизнь». Она, по словам Клары, «очень милая, хотя очень сдержанная». Когда она «в хорошем настроении», она «любит поддразнивать людей», но может быть «недоступной и даже надменной». Она «образованна и очень религиозна»; любит «получать русские, английские и французские книги», но говорит «только по-немецки»; «энергична, упорна, никогда не жалуется и никогда никого не благодарит». Иными словами, настоящая великая княжна.

Не убежденный, но еще более заинтригованный, чем раньше, Швабе отправил Клару домой и с нетерпением ждал среды. Ровно в два часа прибыл Франц Енике, в полной готовности и при оружии, и оба они отправились в Дальдорф.

Швабе взял с собой Библию на русском языке, коробку шоколада, номер «Двуглавого орла» и фотографию императрицы-матери. «Необходимо отметить, что оба мы были совершенно спокойны, – писал он позже. – Мы не ожидали увидеть великую княжну, но поехали, чтобы окончательно прояснить ситуацию».

К удивлению капитана фон Швабе, никто в Дальдорфе не пытался помешать ему увидеть фройляйн Унбекант. Никто даже не задал ему ни одного вопроса. Одна из сестер ввела Швабе и Енике в палату «Б» и, осторожно откинув одеяло с лица пациентки, сказала: «Фройляйн Унбекант, к вам пришли».

Пристально посмотрев на посетителей, неизвестная сказала: «Я не желаю никого видеть». И снова закрыла лицо.

Последовала долгая напряженная пауза. Затем, по словам Швабе, фройляйн Унбекант «откинула одеяло и спросила, что мне нужно. Я отвечал, что хочу узнать, как она сюда попала и могу ли я ей помочь».

Фройляйн Унбекант была по-прежнему настороже. «Кто вас прислал?» – спросила она.

Швабе не собирался обсуждать Клару Пойтерт в присутствии сестры – он вообще ничего не собирался обсуждать при ней. Он отвечал, что в настоящий момент не может ей этого сказать.

Фройляйн Унбекант что-то сообразила. «Она долго пристально на меня смотрела и затем снова закрыла лицо».

Швабе обратился к сестре. «Можно ли передать пациентке шоколад?»

«А почему бы и нет?» – отвечала сестра.

Но фройляйн Унбекант услышала их: «Я ничего ни у кого не беру».

Она говорила по-немецки.

«Разве вы не знаете русского?»

Ответ последовал быстрый и недвусмысленный: «Nein!»

Швабе не знал, что делать дальше. Не мог же он прямо спросить фройляйн Унбекант: «Вы – великая княжна Татьяна?» Но и уйти, так ничего и не выяснив, он не мог.

Франц Енике пришел ему на помощь. «Почему бы вам не показать ей фотографию?» – предложил он.

Швабе достал портрет императрицы-матери. Сестра, наклонившись, снова откинула одеяло. «Эти господа хотят показать вам фотографии».

Енике заметил, что, увидев фотографию матери царя, фройляйн Унбекант «багрово покраснела». «Она взяла ее у меня из рук, – вспоминал Швабе, – села в постели и долго ее рассматривала. Потом она отвернулась и сказала резко: “Я не знаю эту даму”».

Две минуты прошли в неловком молчании, которое нарушила фройляйн Унбекант. На этот раз она сама открыла лицо и сказала сестре: «Я хотела бы поговорить с этим господином наедине». Без единого слова сестра отошла вместе с Енике и остановилась у двери. Тогда, глядя Швабе прямо в глаза, фройляйн Унбекант снова спросила его: «Кто вас прислал?»

Опасаться теперь было нечего, и Швабе быстро сказал, что это была Клара Пойтерт. Фройляйн Унбекант какое-то время переваривала эту информацию. «Простите меня, – сказала она наконец, – но я очень расстроена». Через несколько минут она овладела собой и перешла к делу. Не может ли он как-нибудь помочь ей выйти на свободу? На этой неделе ее переводят в клинику в Бранденбурге, и от одной мысли об этом ей становится дурно. Швабе отвечал, что сделает всё возможное, чтобы ей помочь: «Я заверил ее, что она может быть совершенно спокойна и может мне довериться... Таким образом я старался ее успокоить. Со своей стороны, неизвестная просила меня быть как можно осторожнее».

Больше фройляйн Унбекант было нечего сказать, и Швабе снова предложил ей коробку шоколада, которую она на этот раз приняла вместе с «Двуглавым орлом».

«Вы читаете по-русски?» – спросил Швабе. Это было скорее утверждение, чем вопрос, и оно было подтверждено «едва заметным кивком».

«Благодарю вас», – сказала фройляйн Унбекант, и капитан фон Швабе удалился. Подойдя к двери, он и Енике обернулись и поклонились. Фройляйн Унбекант отвечала им улыбкой и быстрым кивком, как будто разрешая им уйти. Этот прощальный жест произвел на них больше впечатления, чем все ее слова.

В холле их ожидала сестра. «Ну так как? Узнали в ней кого-нибудь?»

Швабе притворился непонимающим. «Нет, – сказал он, – но фройляйн – очень, очень интересная особа».

В ту ночь – бессонную ночь – фройляйн Унбекант сказала сестрам: «У этого господина есть фотография моей бабушки».

На обратном пути капитан фон Швабе и Франц Енике молчали. «Беседа с неизвестной произвела на нас сильное впечатление, – писал Швабе. – Мы были убеждены, что она действительно великая княжна». Нельзя было терять время. В тот же вечер Швабе имел аудиенцию у лидера монархистов Маркова-второго. «Выслушав меня, – говорит Швабе, – он тоже почувствовал, что неизвестная может оказаться великой княжной». Но Швабе был не готов взять на себя ответственность за опознание. Он считал, что в Берлине должен быть кто-то, кто хорошо знал царских дочерей и «кто мог действительно узнать ее». Марков согласился. В то же время необходимо было обеспечить безопасность фройляйн Унбекант. Марков обещал об этом поза-

ботиться. «Затем, – вспоминает Швабе, – вся инициатива исходила от него, а я только выполнял его указания».

Высший монархический совет заседал допоздна. К утру казалось, что вся эмигрантская колония уже знала новость: «Великая княжна в Дальдорфе!» Весь день русские занимались делом. Во-первых, в Дальдорф была направлена группа бывших офицеров с оружием, чтобы не дать удалиться оттуда фройляйн Унбекант. Другая группа отправилась в полицию узнать, что они могли сделать. И, наконец, пока капитан фон Швабе беседовал с врачами Елизаветинской больницы о первых днях пребывания фройляйн Унбекант в Берлине, третью группу послали на поиски баронессы Буксгевден.

Софья Карловна Буксгевден, фрейлина императрицы Александры Федоровны, в течение пяти лет находилась при дворе и очень хорошо знала четырех царских дочерей. Она последовала за царской семьей в сибирскую ссылку в 1917 году, но не получила разрешения жить с ними в губернаторском доме в Тобольске. Баронесса не видела никого из членов семьи до мая следующего года, когда цесаревича Алексея с сестрами отправили в Екатеринбург и ей разрешили их сопровождать. В Екатеринбурге большевики отпустили ее на свободу и приказали уехать. В настоящее время, как удалось обнаружить эмигрантам, баронесса жила в Хеммельмарке в качестве гостьи принцессы Ирены Прусской. Кто-то должен был за ней поехать.

Тем временем Высший монархический совет отыскал Зинаиду Сергеевну Толстую, подругу императрицы, жившую до революции в Царском Селе и часто бывавшую в Александровском дворце. Если фройляйн Унбекант та, за кого она себя выдает, рассуждали эмигранты, она наверняка помнит «Зину». Госпожа Толстая с дочерью и капитан фон Швабе с еще одним офицером-монархистом капитаном Степаном Андриевским прибыли утром в Дальдорф. Там их встретил главный врач Елизаветинской больницы доктор Винике, лечивший фройляйн Унбекант в 1920 году. Швабе уговорил его выступить в качестве посредника на переговорах с врачами Дальдорфа, но в клинике никто не оказал никакого сопротивления требованиям эмигрантов. Сам директор Дальдорфа, побеседовав с Винике, просто попросил одну из сестер привести фройляйн Унбекант в приемную.

«Прошло около четверти часа, – вспоминал Швабе. – Наше напряжение возрастало. Наконец вернувшаяся сестра объявила, что фройляйн Унбекант не желает выходить».

В таком случае, сказал директор, эмигрантам придется самим к ней подняться.

Они застали ее в обычном положении, лицом к стене, с головой, накрытой одеялом. Швабе приблизился к ней первым. «Не нужно бояться, – сказал он мягко. – Здесь ваши друзья».

Ответа не последовало. По данному Швабе знаку подошли Зинаида Толстая с дочерью и прошептали: «Танечка», – ласкательное имя великой княжны Татьяны. Фройляйн Унбекант медленно повернулась к ним, всё еще закрывая одеялом низ лица. Ободренные этой реакцией Толстые достали фотографии царской семьи в Тобольске, икону и подписанные фотографии императрицы Александры и ее дочерей.

«Глядя на фотографии, неизвестная заплакала, – сообщает фон Швабе. – Несколько раз, склоняясь над ней, Толстые просили ее сказать им хоть словечко». Она молчала. Она продолжала молчать и когда капитан Андриевский «в состоянии крайнего возбуждения» подбежал к кровати с криком: «Ваше высочество! Ваше высочество!» Швабе был в ужасе. Все остальные пациенты в палате застыли, наблюдая эту сцену. «Они вас могут услышать!» – пытался остановить его Швабе, но Андриевский не обратил на него внимания. «Ваше высочество!» – снова закричал он.

«Поскольку было невозможно убедить неизвестную открыть лицо, – продолжает Швабе, – дамы и капитан Андриевский попытались сделать это силой. Неизвестная отчаянно сопротивлялась. Доктор Винике, присев у постели, успокоил ее. Всё в порядке, говорил он, всё хорошо, с ней ничего не случится. Он осторожно открыл ей лицо. Неизвестная не сопротив-

лялась... На лице у нее выступили красные пятна; на глазах были слезы. Все смотрели на нее пристально и пришли к выводу, что она действительно великая княжна Татьяна... Единственное, смутившее их обстоятельство, был небольшой рост неизвестной».

Всё это происходило под видом величайшей секретности. Каждый раз, когда один из эмигрантов подходил к постели фройляйн Унбекант, другой отходил в сторону «отвлечь сестер». Сестрам всё это надоело. Что с этими людьми, спрашивали они доктора Винике. Неужели они настолько бесчувственны, что не понимают, как напугана эта женщина? Ее пытаются, и это следует прекратить.

Фройляйн Унбекант всё еще плакала. Дочь Зинаиды Толстой села и гладила ее волосы. Фройляйн Унбекант взяла ее за руку, стиснула. «Дамы и особенно капитан Андриевский хотели снова открыть ей лицо, – говорил Швабе, – но я и доктор Винике настояли, чтобы ее оставили в покое».

Вечером этого дня в штаб-квартире Высшего монархического совета Зинаида Толстая рассказала Маркову-второму об увиденном и заявила, что остается одно: кто-то должен привезти в Берлин баронессу Буксгевден.

Капитан Андриевский ближайшим поездом отбыл в Хеммельмарк.

Швабе тем временем всё еще переживал события дня. В его намерения никогда не входило «пытать» неизвестную. Марков спросил его, есть ли кто, кому фройляйн Унбекант доверяет, кто мог бы помочь ей успокоиться и склонил бы ее к сотрудничеству. Внезапно Швабе вспомнил Клару Пойтерт. Клара посещала фройляйн Унбекант всё это время, приносила ей газеты, еду и всякую всячину, болтала с ней о жизни за стенами клиники и всячески ее подбадривала. Если кто-то мог им помочь, так это Клара. Вечером Швабе пригласил ее к себе и рассказал о своих планах. Должен состояться еще один визит в Дальдорф, сообщил он ей, очень важный визит, и Совет был бы очень признателен, если бы Клара посетила фройляйн Унбекант и подготовила ее.

Поздно вечером 11 марта в Берлин прибыла баронесса Буксгевден: миссия капитана Андриевского в Хеммельмарке увенчалась успехом. Марков-второй составил план: на следующее утро в 9.30 Клара Пойтерт отправится в Дальдорф и сообщит фройляйн Унбекант о том, что к ней придут посетители и она должна вести себя соответственно. В 10 часов придет баронесса Буксгевден с капитаном фон Швабе и Зинаидой Толстой. Таким образом, встреча будет благопристойной, дружеской и, предположительно, решающей. Но, прибыв на квартиру Андриевского рано утром в субботу, Швабе обнаружил, что у баронессы Буксгевден на этот счет свои планы. Она была категорически против участия Клары Пойтерт и самого Швабе. Она решила отправиться в Дальдорф одна и решение свое исполнила. Швабе не верил своим ушам. «По неизвестным причинам, – писал он впоследствии, – Андриевский пытался помешать мне поехать. Считая свое присутствие необходимым, я всё же отправился...»

В Дальдорфе Швабе нашел баронессу Буксгевден и Зинаиду Толстую, в волнении расхаживающих по приемной. Баронесса громогласно настаивала, чтобы фройляйн Унбекант привели к ней. Когда это не получилось, о чем Швабе мог бы предупредить ее заранее, баронесса приказала Швабе остаться в приемной и «задержать» Клару Пойтерт, если та появится. Затем она и Зинаида Толстая вместе вошли в палату «Б».

Никто никогда не узнал, что там произошло в те несколько минут, которые баронесса Буксгевден провела в палате в первое свое посещение. Всё, что мог рассказать об этом Швабе, это то, что баронесса вышла из комнаты, постоянно меняясь в лице, то краснея, то бледнея. Баронесса была явно «возбуждена, – писал он, – однако она сказала, что это не великая княжна». Зинаида Толстая упрашивала ее вернуться в палату и взглянуть еще раз, по крайней мере подольше, прежде чем принять такое важное решение. Наконец баронесса согласилась с большой неохотой. На этот раз Швабе за ней последовал.

К тому моменту приехала Клара Пойтерт и, никем не замеченная, проскользнула в палату. Фройляйн Унбекант, сидя в постели, возбужденно с ней разговаривала. Но, увидев баронессу Буксгевден, она стремительно закрылась одеялом и упорно отказывалась открыть лицо. Баронесса обращалась к ней по-русски, по-английски, по-французски; она называла ее «дорогая»; пыталась показать кольцо, принадлежавшее «мама», – «но никакими усилиями не удавалось ее уговорить». Рассерженная баронесса встала, сорвала с фройляйн Унбекант одеяло и вынудила ее подняться на ноги. Оглядев ее с головы до ног, она изрекла свой вердикт: «Она намного ниже ростом Татьяны».

Фройляйн Унбекант снова бросилась в постель. Баронесса вышла. За порогом комнаты, по словам Швабе, она «снова заявила, что это не великая княжна, но добавила, что некоторое сходство имеется».

На тот момент этим всё кончилось. К величайшему огорчению фон Швабе, безоговорочный результат этой конфронтации был истолкован Высшим монархическим советом как отрицательное доказательство. «Внезапно все они потеряли интерес», – жаловался он. Никто не хотел больше слышать о фройляйн Унбекант или вновь встречаться с ней. Швабе дали понять, что его дальнейшие усилия установить личность фройляйн Унбекант могут привести к «политическим осложнениям». «Когда я указал, что она все-таки несчастная русская женщина, которой следует помочь, – вспоминал Швабе, – никто не выразил такой готовности. Даже Российский благотворительный комитет никак не отозвался».

То, что казалось капитану фон Швабе бессердечным, было на самом деле трусостью. Он вскоре узнал, что влияние баронессы Буксгевден распространялось на круги куда более важные, чем эмигрантская колония в Берлине.

Клара Пойтерт была вне себя. Итог встречи с баронессой Буксгевден, писал капитан фон Швабе, «поверг ее в отчаяние. Но она не теряла надежды». Она заявила, что обратится в шведский Красный Крест. Она напишет снова родственникам великой княжны. Она еще покажет «этой Буксгевден!».

Швабе слушал ее тирады вполуха. Он был тоже расстроен неудачей в Дальдорфе. Он не осмелился больше беспокоить фройляйн Унбекант вопросами при посещениях. Но посещать ее он продолжал. Однажды капитан принес ей русскую Библию, данную ему Марковым, написав на чистой странице в начале «пароль императорской семьи» как обещание спасти ее, как просьбу доверять ему.

Фройляйн Унбекант вырвала эту страницу из Библии и разорвала на мелкие кусочки, но просьбу капитана уважила. Она решила довериться ему. Таким образом, Швабе и Клара Пойтерт поняли, наконец, какую они сделали ошибку. «Я не говорила, что я Татьяна», – заметила фройляйн Унбекант просто и четко. Вскоре один из друзей Швабе дал ей листок бумаги с именами четырех дочерей Николая II. Он попросил ее вычеркнуть имена, не принадлежащие ей. Она охотно это сделала, оставив одно. Так, одним росчерком пера, неизвестная обрела личность и решила свою судьбу. Теперь она стала «Анастасией» и до конца дней отзывалась на это имя.

Капитан Швабе горел теперь желанием найти приют для своей подопечной. Он чувствовал, что ее следует удалить из Дальдорфа не только ради ее душевного покоя, но и чтобы выяснение ее личности могло происходить в более благоприятных обстоятельствах. В конечном счете, огласка, которой Анастасия так боялась, пошла ей на пользу. Отказ баронессы Буксгевден ее опознать, может быть, и удовлетворил Высший монархический совет, но он не положил конец дискуссиям в русской колонии. «О ней говорили в самых далеких от эмигрантских кругах», – отмечает Швабе.

К этим «далеким кругам» принадлежали барон Артур Густавович фон Кляйст и его жена Мария, некогда имевшая отдаленные связи с русским двором. Ни муж, ни жена никогда не

видели царских детей, но всё же рассчитывали сыграть роль в опознании Анастасии и в конце марта явились к капитану фон Швабе с просьбой устроить им встречу с ней. Найдя их «очень дружелюбными» и, по всей видимости, надежными (а также зная, что у них большая квартира и больше денег, чем у эмигрантов), Швабе быстро это устроил. В конце месяца барон и его семья, на «гуманитарных основаниях», в нарушение обычных правил для посетителей, получили разрешение увидеться с Анастасией – «неизвестной русской» – в любое удобное для них время.

Теперь перед ними была трудная задача – убедить Анастасию покинуть клинику. «Она очень медленно осваивалась с этой мыслью», – вспоминала Мария фон Кляйст. Частые приношения цветов и конфет помогли преодолеть ее осторожность и сдержанность. Но вмешательство русских эмигрантов уже помогло Анастасии отсрочить пугавшее ее перемещение в клинику в Бранденбурге, и ей снова стало казаться, что в Дальдорфе не так уж плохо. Кляйсты посещали ее три-четыре раза в неделю. Когда по какой-то причине они не могли приехать сами, то присылали дочерей, а в отсутствие дочерей – горничную, и всё это затем, чтобы убедить Анастасию, в какие хорошие руки она попадет, приняв их предложение. Анастасия продолжала колебаться. Ей надо подумать, говорила она и думала еще два месяца. Она постоянно обсуждала всё с сестрами, с Кларой Пойтерт и с капитаном фон Швабе, пока однажды утром в конце мая не объявила вдруг, что готова ехать.

Барон фон Кляйст без труда добился ее освобождения из клиники. Полиция, за которой было окончательное решение, требовала только гарантий ее материального обеспечения и восприняла последние сенсационные события в ее жизни с полнейшим равнодушием. «В кругах эмигрантов делались попытки установить личность неизвестной, – лаконично говорилось в полицейском отчете, – поскольку существует предположение, что она является великой княжной Анастасией». Только врачей в клинике (к которым эмигранты продолжали относиться с патологической подозрительностью) беспокоили возможные последствия освобождения Анастасии для ее здоровья. На протяжении нескольких месяцев она теряла вес, и уже обнаружились первые признаки туберкулеза, которым она страдала впоследствии долгие годы. Когда Кляйсты приехали за ней в солнечное майское утро, директор клиники остановил их в холле и спросил, почему они хотят забрать девушку.

«Потому что она наша соотечественница», – ледяным тоном отвечал барон фон Кляйст. И поскольку этот ответ не произвел особого впечатления, барон добавил: сам факт, что Анастасия могла оказаться царской дочерью, является достаточным основанием удалить ее отсюда.

Высказавшись таким образом, барон с женой вошли в палату «Б» за своей подопечной. Она стояла у постели, впервые за более чем два года прилично одетая, и выглядела, по словам баронессы фон Кляйст, «сияющей». Однако она отказалась покинуть палату, пока не закрыли лицо густой черной вуалью.

Если бы она знала, что за жизнь ожидает ее за стенами клиники, она, возможно, никогда бы не согласилась ее покинуть. Как бы то ни было, она простилась с сестрами на осторожной, загадочной ноте: «Возможно, мы больше не увидимся, – сказала она, – и со мной всё будет в порядке, но снова начинается эта безумная гонка».

«История»

Барон Артур фон Кляйст жил с женой и двумя дочерьми в просторной квартире на Нетельбекштрассе, 9, на четвертом этаже. Незвестная женщина из Дальдорфа поселилась там 30 мая 1922 года и за несколько дней перевернула всю их жизнь вверх дном. Если барон надеялся приютить у себя Анастасию тихо и спокойно, то он ошибся. Ее присутствие превратило дом Кляйстов в нечто вроде малого двора в изгнании, место, где собирался «весь Петроград», по меткому выражению одного репортера. Русские монархисты разного толка, и преданные и не очень, являлись туда созерцать новую претендентку и проводить там время. Сама баронесса изумлялась количеству вдруг явившихся визитеров. До того они с мужем особой популярностью не пользовались. Теперь же, когда Анастасия оказалась под крышей их дома, они превратились в самую популярную пару в монархистских кругах. В некоторые дни в их гостиной собиралось до двадцати человек, и вполне понятно, что барону это начало доставлять удовольствие. Бывший полицейский в царской Польше, он стал теперь доверенным лицом высочайшей особы, важной персоной и, по имеющимся сведениям, поощрял толпы монархистов-прихлебателей как свидетельство собственного престижа.

Некоторые монархисты сильно подозревали, что главной целью хозяев квартиры на Нетельбекштрассе было не установление личности Анастасии, а самовозвеличивание Артура фон Кляйста. Другие, менее снисходительные, утверждали, что барон намерен нажиться на трагедии царской семьи. Инспектор из главного полицейского управления высказал по поводу барона следующее: «Следует отметить, что он приложил немало усилий для разгадки этой тайны и не скрывал своего изначального убеждения, что это настоящая великая княжна. Правда, у него могли быть и скрытые мотивы, на что намекали в эмигрантских кругах. Он надеялся извлечь из своей заботы о молодой женщине немалые выгоды, если бы в России когда-либо утвердился прежний порядок».

В любом случае, когда барон с женой пригласили ее к себе, они были убеждены – горячо убеждены, – что Анастасия не кто иная, как младшая дочь царя. Капитан фон Швабе также всецело поддерживал ее притязания. Когда позднее в тот год жена Швабе родила девочку, ее назвали в честь Анастасии, которая стала крестной матерью. «Было приглашено множество эмигрантов, – вспоминал друг Швабе Франц Енике. – Многие из них служили раньше при дворе. *Все* были уверены, что Анастасия – царская дочь».

Это безоговорочное убеждение в подлинности личности Анастасии не было поколеблено тем обстоятельством, что она не говорила по-русски. Эмигранты удовлетворялись ее объяснением, что она не желает говорить по-русски, так как, повторял с ее слов барон фон Кляйст, «русские принесли так много горя ей и ее семье». Другим Анастасия признавалась, что одни только звуки русской речи так ее расстраивают, что она едва может держать себя в руках. Одному из посетителей она сказала, что «народ, совершивший то, что совершили русские, не заслуживает лучшей судьбы, чем порабощение». Хозяева слушали такие слова с грустью, но трудностей в общении с гостьей у них не возникало: они говорили с Анастасией по-русски, она отвечала им по-немецки. «Это был не чистый немецкий, – говорила Мария фон Кляйст. – Ее акцент казался нам русским или, быть может, польским, но все же скорее русским». Зинаида Толстая, чье любопытство не уменьшилось, несмотря на вердикт баронессы Буксгевден, вспоминала, что она «всегда» говорила с Анастасией по-русски и та ее прекрасно понимала. Барон фон Кляйст часто читал Анастасии вслух русские книги и газеты; при этом ее замечания и вопросы не вызывали у него никаких сомнений относительно ее национальности. Однажды вечером она даже встала и запела с монархистами «Боже, Царя храни». Она казалась сотканной из противоречий.

Сначала Анастасия, по-видимому, стремилась во всем идти навстречу Кляйстам. Она старалась выказывать дружелюбие и, хотя и не могла заставить себя беседовать с толпами эмигрантов, открыто против их присутствия не возражала. Кляйсты предоставили ей отдельную комнату и, казалось, поняли ее требование – каждое утро принимать ванну. Они купили ей несколько простых хороших платьев и предоставили возможность заимствовать всё необходимое у своих дочерей. Нарядно одетая, Анастасия сопровождала баронессу в поездках за город и по музеям и дворцам Шарлоттенбурга и Потсдама. Единственное, чего у нее не было, это «официального» имени. Называть ее при людях Анастасией никто не осмеливался, так что, испробовав несколько русских уменьшительных имен, барон фон Кляйст остановился на двусмысленном и несколько вульгарном «фройляйн Анни».

Всё свидетельствует о том, что «фройляйн Анни Унбекант» продолжала превыше всего дорожить своей анонимностью. Она отлично знала, за кого принимают ее эмигранты, но тактики ее это знание не изменило. Она жила в постоянной тревоге и повсюду видела агентов Кремля. Увидев как-то на прогулке переходившего улицу «старого еврея», она схватила своего спутника за руку и воскликнула «*Schon wieder ein Bolschewist!*» (еще один большевик!). ««Фройляйн Анни» всё время боялась, что большевики ее похитят», – объясняла дочь барона фон Кляйста Герда. Но эта паранойя распространялась не только на «евреев» и «большевиков», но и на всё человечество, а особенно на тех, кто пытался найти доказательства подлинности ее личности. «Она не давала никакой возможности себя опознать, – заметила озадаченная Герда фон Кляйст. – Когда заходила речь об очередном испытании, она начинала нервничать, плакала и убегала». Кляйстам и всем остальным не оставалось ничего другого как ждать, пока она будет готова с ними сотрудничать.

Никто не сомневался, что Анастасия перенесла какую-то страшную травму. Иногда ею овладевало отчаяние, и тогда Кляйсты старались не оставлять ее одну: они опасались, как бы она чего с собой не сделала. «Меня часто будили по ночам рыдания», – говорила баронесса фон Кляйст, спавшая по очереди с дочерьми в комнате Анастасии. Она заставляла Анастасию сидящей в постели над фотографиями царской семьи, которые приносили ей русские гости. Видеть ее рыдания было невыносимо. Но ужас и отчаяние были не единственными ее состояниями. Кляйстам редко встречался кто-либо с таким неуравновешенным, непредсказуемым характером. Только что очень вежливая, она в следующую минуту становилась холодной и отчужденной. Она бывала жизнерадостна, разговорчива и даже «очень весела», но могла быть также и упряма, своевольна и откровенно груба. Судя по замечаниям Герды фон Кляйст, пребывание Анастасии в их доме было часто не слишком приятно. Называли ее еще и деспотичной.

Несомненно, настроения ее менялись в зависимости от состояния здоровья. Анастасия действительно была больна. Домашний врач семьи фон Кляйст, доктор Т. А. Шилер, периодически посещал ее летом 1922 года. «Пациентка дружелюбна, – отмечал он после первого визита, – отвечает на вопросы кратко, только “да” или “нет”, не вдаётся в объяснения». Шилер нашел у нее острую анемию и отмечал, что Анастасия «очень бледна и пульс у нее слабый». Он полагал, что ей около двадцати пяти лет (царской дочери в это время был бы двадцать один год).

Три дня спустя ее состояние ухудшилось: «Пациентка очень сдержанна. Практически не отвечает на вопросы; очень бледна; поддерживает рукой голову; редко улыбается на шутки». Доктор Шилер также обнаружил, что даже легкое прикосновение к черепу причиняет ей сильную боль: «Она избегает ответов на вопросы об ушибах головы; очевидно, что серьезная травма имела место». Десятого июня Шилер пишет: «Она ничего не говорит о себе, не сообщает даже свой возраст». Четырнадцатого июня она «замкнулась в себе» и отказалась от еды. А около месяца спустя она уже «более дружелюбна и доверчива к семье, но по-прежнему отчужденна с другими».

Двадцать девятого июня Анастасия чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы появиться на небольшой «вечеринке», но 31-го она вдруг, задыхаясь, упала на пол. «Она в полусознании и говорит что-то невразумительное... Во сне она говорит по-русски какие-то малозначительные вещи. Произношение хорошее. Один раз она отчетливо позвала: “Вероника!”»

Болезнь приковала ее к постели. Третьего августа она «совершенно замкнута, очень беспокойна. Чувствует себя плохо». Ей давали дигиталис и морфин. Зинаида Толстая поселилась с ней в комнате, чтобы ухаживать за ней. Именно тогда, когда она находилась в полусознании и под воздействием наркотиков, и всплыли первые подробности ее «истории».

«Что я только пережила! Было всё, грязь и всё, всё».

Так Анастасия говорила позже о полутора годах, прошедших со времени исчезновения царской семьи в Екатеринбурге до ее попытки самоубийства в Берлине. Одни и те же слова повторялись рефреном в ее повествовании: *всё, всё, ужасно, страшно, спешка, грязь, кровь*. Женщина, зная ее позже, в 20-е годы, наблюдала как зачарованная, когда Анастасия, прикрыв глаза рукой, пыталась вспомнить события лета 1918 года, особенно «последнюю ночь, когда нам пришлось поспешно одеться». Откинув прядь волос, она спросила: «Видите шрам у меня за ухом?»

За правым ухом у нее действительно был глубокий шрам. Ее приятельница рискнула предположить, что это мог быть результат несчастного случая.

«Да, вы правы, – с горечью сказала Анастасия. – Это был несчастный случай... очень тяжелый несчастный случай». Она помолчала. «Не знаю, как это точно передать... но я потеряла сознание, всё вокруг потемнело, и я увидела звезды, и был ужасный шум».

«Это была рана?» – спросила приятельница, глядя на шрам.

«Нет», – сказала Анастасия неуверенно.

«А что это было?»

Анастасия снова помолчала немного. «Почему все мои платья были в крови? – сказала она наконец. – Повсюду было полно крови... Да, это было тогда... когда наступил конец».

Для Анастасии «конец» означал ночь на 17 июля 1918 года, последний раз, когда царскую семью видели в живых. Сама Анастасия никогда не называла точную дату, но она знала месяц и год и бормотала: «Июль месяц для меня самый тяжелый». Помимо этого она отказывалась вдаваться в подробности и выходила из себя, когда некоторые упоминали о том, что она должна была пережить, приводя якобы точные описания. Было «так много ложных заявлений, – жаловалась она, – столько фантазий и эгоистических побуждений», что стало невозможно отличить истину от вымысла. Когда полицейский инспектор однажды заметил, что в последнюю ночь в Екатеринбурге на ней были солдатские сапоги, она воскликнула в крайнем раздражении: «О чем говорит этот человек!.. Это чушь... Нас никуда не собирались вести, только в другую комнату; нам незачем было надевать сапоги». Факт сам по себе незначительный, но для Анастасии типичный.

Зинаида Толстая, ухаживая за Анастасией летом 1922 года, первой услышала ее «историю» или отдельные эпизоды. Она сообщила эти факты в той форме, в какой их услышала, барону фон Кляйсту, который, в свою очередь, кое-что записав, придумал для Анастасии последовательный рассказ от первого лица, не походивший на ее собственное изложение, и ввел в него, без лишних подробностей, образ «солдата, спасшего ее» из екатеринбургской бойни.

Этот солдат, которому суждено было надолго омрачить жизнь Анастасии, называл себя Александром Чайковским. С ним и его семьей – его матерью Марией, сестрой Вероникой и братом Сергеем – Анастасия в крестьянской телеге добралась до Бухареста. Там она оставалась до начала 1920 года. Во время пребывания в Румынии – точнее, 5 декабря 1918 года –

она родила от Чайковского сына, которого назвала Алексеем в память о брате. Вскоре после этого они с Чайковским сочетались браком по католическому обряду в Бухаресте. Ни венчальных колец, ни документов о браке не было. В Бухаресте семья жила у «садовника», якобы брата матери Александра Чайковского. Сам Чайковский был застрелен на улице в конце 1919 года. Его молодая вдова, покинув ребенка, «одна» приехала в Берлин на поиски родственников своей матери. Там она пробыла неделю «на свободе», пока не упала – или пока ее не столкнули? – в Ландверский канал.

Такова была эта фантастическая «история» в изложении барона фон Кляйста. Когда Анастасия узнала о вымыслах барона, ее негодованию не было предела. «Какой Алексей! – возмущалась она. – Мальчика звали, как и его отца, Александр». И откуда барон фон Кляйст взял дату его рождения? Анастасия понятия не имела, когда он родился. Всё, что ей было известно, это что ему сейчас, в 1922 году, «около трех лет». Какое это имеет значение? В любом случае, она бы даже и не узнала сейчас ребенка.

Анастасия никогда не желала говорить о ребенке и еще менее о своих отношениях с Александром Чайковским. Видимо, это она и имела в виду, говоря, что перенесла «всю эту грязь». «Она говорила мне, что ее изнасиловали», – прямо заявила Герда фон Кляйст. Уже ходили слухи о «невинном флирте» за оградой Ипатьевского дома, и теперь русские монархисты начали к ним прислушиваться. Сама Анастасия касалась этой темы с величайшей скупостью.

Только в обществе других женщин она могла преодолеть свое унижение и объяснить, что «крестьянин – это не то, что один из нас», что у Александра Чайковского было «доброе сердце», но, как и многие другие люди его класса, он был чересчур «горяч». Анастасия знала, что о ней подумают, и была права: в монархистских кругах распространилось мнение, что она купила себе свободу ценой сексуальных услуг. В 1925 году, когда «история» стала общим достоянием, приятельница спросила Анастасию, как могла она, русская великая княжна, опуститься до таких «простых людей», как Чайковские. Анастасия рассердилась. «Если простые люди добры ко мне, я забываю о том, кто они».

А Чайковские были к ней добры?

«Меня бы не было здесь сейчас, если бы они не были добры», – холодно отвечала Анастасия.

«Она не желала продолжать разговор на эту тему», – писала приятельница Анастасии. Нет, она не желала говорить ни о Чайковских, ни о ребенке, ни о бегстве из России, ни о «последней ночи» и заключении в Ипатьевском доме. Когда она снова заговорила об этом в 1929 году, она не могла вспомнить, сколько времени семья провела в Екатеринбурге, – «очень недолго», – но хорошо помнила их беспомощность и «постоянный страх». Когда ее спросили, почему царская семья не пыталась бежать, она изумилась. «Как мы могли выйти? Как мы могли это устроить? – спрашивала она. – Люди не понимают ничего. Мы не могли свободно разговаривать. Мы не бывали наедине. Они всегда были в комнате». Солдаты были повсюду, эти «ужасные, ужасные» русские солдаты. «Они врывались в комнату по ночам... Русские солдаты – это что-то ужасное... Вы представить себе не можете... Если кто-то из них обнаруживал хотя бы малейшую доброту, его убивали... Они многое украли. Никто не следил за порядком, и они хватали что могли... Они всё время пьянствовали и отвратительно ругались... Они были ужасны. Они чудовищно вели себя с моим отцом... Мне становится дурно, когда я думаю об этом. Они гнусно ругались, обзывали его всякими словами». Люди ничего не понимают, повторила Анастасия. Никто не может понять, что она пережила, что все они пережили. «Им не стыдно, когда я рассказываю им, как страдали моя мать и сестры», – горячо заявляла она, и все знали, что под словом «им» она понимала русских, всех русских. Но она уже сказала достаточно. Больше она об этом говорить не будет.

Так, в течение семи лет Анастасия рассказывала свою «историю» – отрывочно, в приступах гнева, отчаяния, с глубокой горечью. Барон фон Кляйст никогда не слышал «историю» полностью. В то время как он монотонно излагал подробности бегства Анастасии из России в крестьянской телеге, сама она содрогалась при воспоминании:

«Вы знаете, что такое крестьянская повозка? Нет, вы не знаете. Вы только можете это понять, когда лежите в ней с разбитой головой и истерзанным телом... Как долго это длилось? Боже мой, очень долго. Много недель. Чайковский совершил безумный поступок, спасая меня. Что я пережила! Я словно с неба свалилась. Вдруг одна, среди чужих. Они раздели меня. Я лежала в платье дочери старухи. Мою одежду спрятали. Там было много бутылок с водой. Целыми днями мы ехали по совершенно пустынным местам. Людей там не было. Одни леса. Вода была нужна мне для головы. Но никогда воды вдоволь не было».

Тут Анастасия прерывала свой рассказ и «долго плакала».

Конечно, всех интересовал один вопрос: кто такой был Александр Чайковский и как ему удалось спасти царскую дочь? На этот вопрос Анастасия не могла дать ответ. «Была ужасная неразбериха, и он увидел, что я жива. Он не хотел хоронить живого человека и бежал со мной. Это было очень опасно».

Стало быть, Чайковский был одним из охранников в Екатеринбурге?

Очевидно, так оно и было, говорила Анастасия, снова прекращая разговор о Чайковском, о Екатеринбурге, об Ипатьевском доме. «Это слишком страшно, – повторяла она. – Я не должна об этом думать». Многие из тех, кто верил, что она великая княжна, из чувства такта не настаивали на продолжении. Другие подозревали, и не без причин, что она что-то скрывает. Она однажды призналась, что на ней «лежит тяжелая вина», и, указывая на фотографию великой княжны Татьяны, сказала: «Она умерла из-за меня». Зинаида Толстая вспоминала рассказ Анастасии о том, как «царя убили первым», и еще кое-что: тело великой княжны Татьяны упало на Анастасию, тем самым сохранив ее от убийц. Затем она почувствовала «страшный удар по голове» и потеряла сознание.

Никто не слышал от Анастасии слова «убийство», когда она рассказывала об «ужасной неразберихе» в июле 1918 года. Она употребляла слово «трагедия», «случившееся», «конец».

«Мы постоянно этого ожидали, – говорила она. – Мы не знали, что случится. Но страх был всегда». Когда через семь лет после ее освобождения из Дальдорфа Анастасия заговорила о случившемся, она могла только передать собственное душевное смятение:

«Всё произошло так внезапно. Сразу. Так быстро, что никто не мог подумать... Это было поздно вечером. Мы были в постели. Они вошли и приказали собираться. Нам пришлось одеться и следовать за ними. Мы ничего не знали – нам просто приказали идти... Я не знаю, что они сказали отцу. Нам просто приказали идти за солдатами. Никто не знал, что должно было случиться, я до сих пор не знаю. У меня в памяти одна ужасная картина. Я не хочу об этом говорить. Я не должна об этом думать».

На этот раз у собеседницы Анастасии хватило смелости спросить: «Вы были все вместе?» «Да», – отвечала она. И вновь: «Я не знаю, что случилось... Никто не мог нам помочь, никого не было».

О жизни в Румынии, рождении ребенка и браке с Чайковским она говорила менее таинственно, хотя и столь же туманно. Она не знала, сколько времени они выбирались из России, – «много недель», – и мало что помнила, кроме тряской повозки и постоянной боли в голове. Раны на голове, за ухом, на руке, на груди и ноге, по ее словам, «зажили быстро» благодаря примочкам и холодной воде. Но ей все время «было плохо», и часто она теряла сознание. Она не помнила, как они пересекли румынскую границу, и не могла описать дом, где они жили в Бухаресте. «Я оставалась в одной комнате и никогда не выходила, – объяснила она. – Я всё время болела». Ее спрашивали, узнала бы она дом и улицу? Анастасия отвечала отрицательно: «Я только дважды выходила из дома... Я ничего не видела в Бухаресте».

А приютивший их «садовник», родственник Чайковских, его бы она узнала?

«Не знаю, – отвечала Анастасия. – Он был русский... не молодой и не старый». Такие сведения никакой ценности не имели.

Когда Анастасия говорила о двух своих выходах из дома, под первым она имела в виду бракосочетание с Чайковским, а под вторым – его похороны в том же году. Она ясно помнила, что видела его тело, хотя, как она снова объяснила: «Я ни разу не была на улице. На свадьбу меня отвезли на машине. Я не смотрела по сторонам. Я боялась. Церковь, да, церковь была большая».

А что она помнит о брачной церемонии? Ничего. «Я ничего не знала о католических обрядах». Она была в черном платье и вуали под именем – она настаивала – «Анастасии Романовой», но не знала, имел ли место гражданский брак. Когда впоследствии ей дали понять, что бракосочетания могло и не быть, а была всего лишь отслужена месса, чтобы облегчить существование незаконного ребенка, Анастасия предпочла не обсуждать такую возможность. Некоторые сообщения утверждали, что она вышла за Чайковского «из благодарности». Анастасия это отрицала: она сделала это ради ребенка и позволила окрестить его в католическую веру. На крестинах она не присутствовала и *никогда* не позволяла никому называть своего ребенка Романовым. Сразу же после его рождения она передала ребенка матери и сестре Чайковского: «Я единственно желала, чтобы его немедленно унесли».

В Бухаресте, продолжала Анастасия, семья Чайковских жила на деньги, полученные от продажи драгоценностей, которые она, как и ее сестры, зашила в свою одежду, живя в Тобольске. Там были бриллианты и другие драгоценные камни, а также жемчужное ожерелье, которое было обмотано у нее вокруг талии и которое продали последним. Позже было высказано предположение, что Чайковский был убит в Бухаресте большевиками из мести за спасение царской дочери, но Анастасия не была в этом уверена. «Может быть, он хотел продать драгоценности. Его могли ограбить. Румыны с легкостью пускали в ход ножи». Она вздохнула: «Это было тяжело».

Но у нее не было больше оснований задерживаться в Бухаресте. Чайковские не хотели, чтобы она уезжала из Румынии в середине зимы, но она настояла. У нее была теперь одна цель – добраться к родственникам матери в Германии. «Да, моя мать их любила... Я всегда хотела попасть к ним... Мне казалось естественным, что они меня узнают: никакие трудности мне в голову не приходили». Она оставила не только ребенка, но и «одежду, что была на ней в ночь убийства, и белье с монограммой». Даже баронесса Буксгевден, настаивала Анастасия, «узнала бы эти вещи, если бы ей их показать».

Анастасия не могла без слез говорить о путешествии из Бухареста в Берлин. Это были тяжелые, страшные дни. Вопреки первоначальным представлениям, Анастасия отправилась в Берлин не одна, а с братом покойного мужа Сергеем Чайковским. «Мы выехали на поезде, – вспоминала она, – но временами мы опасались проверки паспортов. Иногда я шла пешком». Эта бесконечная дорога по снегу чуть не сломила Анастасию. Как и долгие часы ожидания в «комнатках маленьких гостиниц», пока ее спутник искал пути тайного перехода границы. «Мы могли проходить только небольшое расстояние» за раз.

Только когда они оказались в Германии, Анастасия почувствовала себя в безопасности. «Там всё было хорошо, – сказала она. – Я поехала в Берлин на поезде». Сначала ей было очень трудно вспомнить немецкий: «мне было трудно с ними объясняться», но к тому времени, как она добралась до Берлина, знание языка к ней вернулось. Они с Сергеем заняли две комнаты в гостинице, названия которой она не знала. «Всё было так ново для меня», – сказала она.

План Анастасии найти родственников матери, быть может, и удался бы, если бы не одно обстоятельство: Сергей Чайковский исчез – или по крайней мере так считала Анастасия, не найдя его в его комнате. Анастасия даже подумать не могла, что означало это исчезновение, случившееся вслед за смертью мужа. В панике она выбежала из гостиницы, намеревалась

добраться до королевского дворца, где надеялась найти сестру матери. Потом она сообразила, что никого из прусской королевской семьи там могло и не быть. За этим последовало полное смятение, многочасовое блуждание по берлинским улицам и, наконец, отчаянный прыжок в Ландверский канал. Этот поступок Анастасия впоследствии охарактеризовала как «величайшую глупость», но с того момента, во всяком случае, ее история была уже известна.

Нетрудно представить себе реакцию монархистов, когда на свет просочились подробности «истории». Те, кто сомневался в подлинности личности Анастасии, естественно, еще менее были склонны верить ее фантастическому спасению.

Барону фон Кляйсту не удалось смягчить удар, нанесенный эмигрантам известием о рождении у Анастасии внебрачного ребенка. Оказались бесполезными и заявления Анастасии (с которыми она выступила впоследствии), что Александр Чайковский, хотя и грубый и неотесанный, был отпрыском знатной польской семьи. В монархистских кругах никто не желал верить, что дочь государя всея Руси была матерью внебрачного ребенка солдата-большевика из поляков. И еще хуже было то, что потомка последнего царя оставили в Бухаресте. Сколько могло быть в Бухаресте трехлетних сирот мужского пола? Знавшие родную историю русские монархисты содрогались при мысли, что Анастасия, кто бы она ни была, быть может, и не последняя претендентка на наследство Романовых.

Больная и постоянно в мрачном настроении, Анастасия не интересовалась этими проблемами. На самом деле она начинала терять терпение. Она не «вещь» какая-нибудь, заявила Анастасия, и пусть монархисты это знают. Даже во время ее серьезной болезни барон фон Кляйст несколько не заботился о ее душевном состоянии, приводя толпы своих друзей в ее комнату, чтобы дать им возможность увидеть ее, быть может, в последний раз. Анастасия начала поговаривать о возвращении в Дальдорф.

В расстроенных чувствах она обратилась за утешением к Кларе Пойтерт. Между этими двумя бывшими пациентками психиатрической больницы давно уже образовалась особая связь, малопонятная посторонним. Кляйсты терпеть не могли Клару и старались изо всех сил уменьшить ее влияние. Клара, в свою очередь, не могла простить барону покушения на ее, как ей казалось, законное право. «Он ввязался в эту историю ради своих корыстных целей, – ворчала она, – а теперь хочет быть ее единственным советчиком». И это так и было: капитан фон Швабе, сделавший, в конечном счете, больше других для осуществления притязаний Анастасии, с сожалением заметил, что с тех пор, как Анастасия поселилась у барона фон Кляйста, он редко ее видит. Всем стало ясно, что барон намеревается беречь «великую княжну» для себя.

Возникшие вокруг этого интриги могли превзойти ситуацию при любом королевском дворе Европы. Еще больше посетителей стало являться в квартиру Кляйстов в надежде приобрести расположение Анастасии и получить – что? Анастасии нечего было им предложить, кроме своего расположения. Очевидно, некоторым этого было достаточно. Когда барон фон Кляйст приводил к ней гостей, Клара Пойтерт и супруга капитана фон Швабе Алиса подстрекали ее отказываться от встреч. Алиса фон Швабе пустилась в эти интриги с наслаждением и проявила себя в них первоклассной специалисткой.

Напряжение росло с каждым днем, постепенно становясь непереносимым. Одинадцатого августа баронесса фон Кляйст, до того старавшаяся быть выше всех этих неприятностей в своем доме, запретила Кларе появляться у себя. В тот же вечер явилась Алиса фон Швабе и несколько часов провела наедине с Анастасией. После этого Анастасия вышла в слезах и на вопрос барона фон Кляйста, что случилось, отвечала, что не может говорить с ним об этом, не обсудив все прежде с г-жой фон Швабе. «Несомненно, – писал барон, – что г-жа фон Швабе оказала крайне неблагоприятное воздействие на психическое состояние больной».

В конце концов Анастасия провела их всех. Доктор Шилер заметил, что она поправилась после серьезной болезни на удивление быстро. «Больная пришла в нормальное состояние, – отмечал он радостно. – Она снова на ногах и чрезвычайно бодра».

Когда доктор Шилер нанес очередной визит, он обнаружил, что в его услугах больше не нуждаются. «Пациентка сбежала», – озадаченно заметил он. Анастасия и в самом деле исчезла.

Тайна, окутывающая судьбу русской царской семьи, остается сегодня такой же непроницаемой, как и 60 лет назад, когда Анастасия сбежала из дома барона фон Кляйста. Люди по-прежнему с удивлением узнают, что известная история убийства Романовых – то есть история их уничтожения в подвале Ипатьевского дома – это, на самом деле, всего лишь одна из версий. Ученые давно уже указывали на тот факт, что дело об убийстве основывается целиком лишь на косвенных уликах: тела так и не были обнаружены, не было даже неоспоримых свидетелей преступления. Один-единственный человек, пойманный большевик, из тех, что служили в Екатеринбурге, подписал показания, где свидетельствовал, что видел лежавшие в лужах крови тела членов царской семьи в подвале Ипатьевского дома. Текст был составлен офицерами Белой армии и подписан под пыткой. Несколькими днями позже этот единственный свидетель умер в тюрьме от «тифа» («Я его стукнул лишней разок», – признался впоследствии в эмиграции один белый офицер). «Разве не досадно, – говорил французский военный атташе в Екатеринбурге, – что должен был приключиться этот чертов тиф и навсегда лишить историков единственного свидетеля важного события, так и оставшегося неразгаданным?»

Досадно оно и есть, особенно ввиду странной истории с уликами, на которых строится вся версия убийства.

Шкатулка, в которой хранились предполагаемые останки царской семьи, обломки драгоценностей, клочки обгоревшей одежды и горсть обуглившихся костей, переходила из рук в руки, из одного дворца в другой в течение почти десятилетия, пока не попала, наконец, в Европу. Никто из родственников царской семьи не согласился так или иначе ею распорядиться, пока она не исчезла окончательно.

Были также три идентичных экземпляра свидетельских показаний, каждый подписанный и заверенный Николаем Соколовым, следователем, назначенным в 1919 году, во время оккупации Екатеринбурга белыми, для выяснения судьбы членов царской семьи. Два экземпляра, включая принадлежавший лично Соколову, исчезли, тогда как третий оказался в библиотеке Гарвардского университета, где годами пролежал никем не замеченный. Когда в 1976 году результаты расследования, проведенного Соколовым, были преданы полной гласности, в них оказалось меньше фактов о подлинных обстоятельствах убийства, чем о самом расследовании: расследования как такового не было, а была лишь юридическая шарада, стратегическая пропаганда, имевшая целью как-то покончить с тайной, могущей вызвать политические осложнения.

Это обвинение не безответственное и отнюдь не новое. Его начальник в Белой армии определил сибирскую миссию Соколова как «политическое задание», где «полное раскрытие обстоятельств убийства нежелательно!» В тот критический момент не было места для сомнений и предположений: шла Гражданская война. «Совершенно очевидно, что в интересах белых было принять факт гибели всей семьи», – пишут Энтони Саммерс и Том Мэнголд в «Царском досье». «В качестве пропаганды это служило двойной цели: разоблачения большевиков как гнусных убийц беззащитных женщин и детей и в то же время придания Романовым ореола мучеников». Как пропаганда убийство царской семьи служило и другим целям. Оно позволяло каждому с политическими или расистскими предубеждениями навязать ужаснувшейся общественности свою точку зрения. Так, следователь Соколов считал ответственным за екатеринбургскую бойню Ленина, в то время как его коллеги-монархисты автоматически обвиняли «жидов» и их воображаемых повелителей – «Сионских мудрецов». Другие, особенно

учитель французского языка великой княжны Анастасии Пьер Жильяр, видели в этом возможность опорочить немцев. В 1921 году Жильяр заявил: царскую семью убили те, кого он называл «австро-германцами». Иными словами, как справедливо заключают Саммерс и Мэнголд, отсутствие улик было в этом деле большой помехой: «Необходимо было официальное расследование, начинавшееся с определенной предпосылки – что все Романовы погибли в Екатеринбурге, – руководство которым осуществлялось бы из штаба Белой армии в Омске».

Нет сомнения, что расследование Соколовым убийства царской семьи проводилось под руководством Омска. Это дело было поручено ему командованием Белой армии, и это же командование отозвало его четыре месяца спустя. Нет также никакого сомнения, что Соколов хотел доказать то, что белые хотели услышать. Еще до отъезда из Омска в Екатеринбург в феврале 1919 года Соколов уже говорил встревоженному Пьеру Жильяру, что «дети разделили судьбу родителей». «У меня нет и тени сомнения на этот счет», – добавил он. В результате Соколов никогда не занимался «официально» слухом о спасении великой княжны Анастасии – слухом, который, по словам адъютанта военного губернатора Екатеринбурга при белых, «никогда не переставал циркулировать в городе».

Как и вообще все слухи, этот распространился с молниеносной быстротой. Он был занесен из Сибири в Европу солдатами, дипломатами, бывшими военнопленными, монахинями, графинями и крестьянами, пытавшимися избежать угрозы уничтожения со стороны как красных, так и белых. В протоколах расследования Соколова содержатся показания не менее дюжины свидетелей, заявлявших, с одной стороны, что императрица и все ее дочери живы и находятся в Перми, около двухсот миль к западу от Екатеринбурга, более двух месяцев спустя после их предполагаемой гибели; и с другой, что одна из великих княжон, чаще всего фигурирующая под именем Анастасии, бежала из пермской тюрьмы и была схвачена большевиками в пригородных лесах.

Сообщения об Анастасии были особенно интересны – не как доказательство того, что царская дочь уцелела, но скорее как свидетельство беспорядка и паники в большевистской среде в Сибири. Большевики в Перми – новое местопребывание Уральского Совета, организации, якобы убившей царскую дочь в Екатеринбурге, – тщательно охраняли таинственную девушку и даже вызвали врача перевязать ее раны (она была зверски избита и, возможно, изнасилована). Врачу, Павлу Уткину, сказали, что она «дочь царя, Анастасия». У него не было оснований не верить. Одна из свидетельниц Соколова была сестрой секретаря Уральского Совета. Когда она говорила, что императрица и ее дочери выжили, была ли это ложь? Не подставили ли ее большевики нарочно как лжесвидетельницу? Возможно, но ее показания, сами по себе, стоят других в этом печальном досье. И это не единственный факт. Княгиня Елена Петровна, урожденная принцесса Сербская, жена одного из Романовых, тоже находилась в пермской тюрьме осенью 1918 года. Однажды, вспоминала она, к ней в камеру привели молоденькую девушку, называвшую себя Анастасией Романовой. Большевики хотели узнать, являлась ли она, как они подозревали, царской дочерью. Елена отвечала отрицательно, и девушку увели.

Фамилия «Романовы», как и имя «Анастасия», – одна из самых распространенных в России. Только в Перми и окрестностях были, должно быть, сотни Анастасий Романовых.

Почему же большевикам понадобилось спрашивать Елену Петровну, не была ли именно эта Анастасия Романова царской дочерью?

Сначала большевики, казалось, не делали никакой тайны из имени великой княжны Анастасии. Имеется, например, свидетельство доктора Гюнтера Бока, отставного дипломата, которому пришлось получить официальное разрешение на дачу показаний от германских властей. Будучи германским консулом в Ленинграде в 1927 году, когда вся Европа говорила об Анастасии, доктор Бок имел беседу с С.Л.Вайнштейном, представителем Наркоминдела в Ленинграде. Вайнштейн прямо заявил Боку, что одна из женщин в Екатеринбурге избежала рас-

стрела. «Анастасия?» – спросил Бок. Но Вайнштейн решил, что уже сказал достаточно, и только пожал плечами: «Одна из женщин!»

«Я ожидал, что он станет это отрицать, – говорил доктор Бок, – и меня изумило, как дружелюбно и естественно он ответил на мой вопрос». Только позднее, когда дело Анастасии стало привлекать слишком много внимания, Москва прибегла к тактике, всегда применяемой ею в случаях, когда речь шла о тщательном расследовании: полному молчанию.

Свидетели из Сибири многократно повторяют одно и то же: повсеместные обыски, допросы и очные ставки и прямые угрозы возмездия, если окажется, что местные жители укрывают «женщин из романовской семьи». Очень велико количество свидетелей, собственными глазами видевших плакаты, извещающие о побеге великих княжон, в Екатеринбурге и Перми, в Москве, Орле, Челябинске и советских миссиях за границей. Некоторые говорят, что речь шла об одной девушке, другие, что о двух или более, но большинство свидетелей высказывались под присягой очень осторожно и не называли великую княжну или княжон по имени.

Во время Гражданской войны один белый офицер получил приказ подготовить специальный поезд на случай, если царские дочери окажутся в живых. Другой, генерал, командовавший войсками на юге России, проводил допрос двух пойманных большевиков, ранее служивших в Екатеринбурге. Оба заявили, «на отдельных допросах», что «одна из великих княжон спаслась».

«Следует помнить одно важное обстоятельство, – говорил Джулиус Хольмберг, финн, получивший образование в Екатеринбурге и встречавшийся со многими своими сибирскими друзьями в 1920-е годы, – что комиссии Соколова было *приказано* прекратить расследование в то время, когда Белая армия еще пользовалась в Сибири полной властью». Это соответствует действительности, и Хольмберг полагал, что причина этого ему известна: все до одного его екатеринбургские друзья слышали о побеге «по меньшей мере» одной из великих княжон. «Может быть, ради них стоило прекратить дело», – размышлял Хольмберг, припоминая разговоры о ярости большевиков, когда они узнали, что их план уничтожения всей царской семьи потерпел неудачу.

В отсутствие других доказательств можно привести в заключение один единственный документ. Граф Карл Бонде, командированный министерством иностранных дел Швеции обследовать лагеря военнопленных в Сибири во время Гражданской войны, заявил: «В своей должности главы миссии шведского Красного Креста в Сибири в 1918 году я путешествовал в собственном вагоне. В одном населенном пункте, названия которого я не помню, поезд остановили и обыскали в поисках великой княжны Анастасии, дочери Николая II. Однако великой княжны в поезде не было. Куда она делась, никто не знал».

Анастасия говорила, что бежала в Румынию. Доказать это теперь, столько лет спустя, после новой мировой войны, коммунистического переворота и ужасного землетрясения в 1977 году, сравнявшего с землей большую часть Бухареста, невозможно. Достаточно сказать, что расследования, проведенные в Румынии, тогда не обнаружили никаких следов семейства Чайковских, ее бракосочетания, рождения ребенка, смерти мужа и ее отъезда в Берлин. «В этой истории нет ни капли подлинных доказательств», – заметила одна русская великая княгиня, но она была не права. И ее ошибка в том, что считать «подлинным» и что нет. В данном случае, она находит странным, что великая княжна, оказавшись в Бухаресте, не явилась сразу же к королю и королеве. Анастасия всегда с горечью отзывалась об этой критике в свой адрес. Многие верили ей, когда она говорила, что рождение ребенка наполнило ее таким стыдом, что она никогда бы даже не подумала явиться при румынском дворе, – не могла же она представить королю и королеве своего насильника!

Осенью и зимой 1918 года Румыния, как и вся Восточная Европа, находилась в состоянии хаоса. В страну хлынули десятки тысячи беженцев, и миграция еще больше усилилась в ходе Гражданской войны в России. Но до ноября 1918 года в Румынии хозяйничали немцы,

точно так же, как и на юге России, на Украине и в Крыму. Они оставили Бухарест только 11 ноября, в день окончания войны; прошло еще две недели, прежде чем правительство, король и королева вернулись из Ясс, и еще много времени, прежде чем в стране установилось подобие порядка. «Всё было вверх дном», – вспоминала Анастасия. Это не прибавляет ее рассказу достоверности, но лучшего момента для беженки – любой беженки – попасть в страну и оставаться там никем не замеченной трудно было найти. Только в 1920 году, когда Анастасия уже покинула Румынию, там была введена система регистрации, подобная уже давно существовавшей в Германии. В этой связи один румынский судья заметил: «Многие беженцы не являлись к властям. Они рожали детей, умирали, исчезали бесследно. Почему? По личным причинам: контрабанда, торговля драгоценностями, работа на иностранные разведки, месть, убийства, сведение счетов».

Только трое были готовы официально засвидетельствовать как лично им известный факт бегства царской дочери с юга России – как она там оказалась, не знал никто, – в Румынию через Николаев, Одессу и Яссы. Один из троих был крестьянин-армянин, видевший ее в монастыре недалеко от Ясс, оказавший ей небольшую помощь и получивший за труды пять тысяч лев. Другой утверждал, что знал человека, которого Анастасия называла Александром Чайковским. И третий был немецкий офицер, командовавший переправой на понтонном мосту в Николаеве. К нему обратился знакомый из белых офицеров – некий «Коля» – с просьбой разрешить переправку раненой великой княжне Анастасии и сопровождавшим ее крестьянам. Он передал эту просьбу своему начальнику и впоследствии получил коротенькую записку с благодарностью за помощь.

Эти показания вряд ли могли убедить тех, кто сомневался в подлинности личности Анастасии. Но есть и еще доказательства, непосредственно касающиеся участия немцев в спасении Анастасии. Генрих Дитц, бывший сотрудник германской военной администрации Бухареста, вспоминал, что присутствие в городе царской дочери после войны не было ни для кого тайной. Было «довольно хорошо известно», – говорит он, что великая княжна жила в Бухаресте «под покровительством немцев». В 1927 году генерала Макса Хоффмана, бывшего начальника штаба германских армий на Восточном фронте, председательствующего на русско-германских мирных переговорах в Брест-Литовске, спросили про его мнение о притязаниях Анастасии. В то время генерал Хоффман высказал твердое убеждение, что Анастасия действительно младшая дочь царя. «Я слышала, как он повторял вновь и вновь, – вспоминает дочь генерала Хоффмана: – “Это она, это она; я знаю”». Когда его спросили, встречался ли он с великой княжной раньше, генерал Хоффман ответил: «Мне не нужно было ее видеть. Я знаю».

На этом таинственном замечании след исчезает. Никаких других свидетельств спасения Анастасии не появилось. Но что можно считать неопровержимым доказательством? Даже если можно было бы как-то доказать, что царская дочь бежала из России в Румынию, каким образом, без документов и отпечатков пальцев, можно определить ее тождество с Анастасией? Перед этой дилеммой оказалась теперь Анастасия, и эту проблему ее покровители-монархисты были твердо намерены решить.

Но, разумеется, сначала барону фон Кляйсту нужно было ее найти.

Скитания

Неожиданное исчезновение Анастасии с Неттельбек-штрассе привело семейство фон Кляйст в смятение. «Где Анни?» – спросила одну из дочерей Мария фон Кляйст, вернувшись домой вечером 12 августа 1922 года.

«Мы думали, она с тобой», – отвечали девушки. Когда до нее дошло, что Анастасия сбежала, баронесса скорее рассердилась, чем испугалась. Несомненно, она отправилась к Кларе Пойтерт, сказала баронесса по телефону мужу: что-то надо делать, чтобы положить конец влиянию этой женщины. Барон уговаривал жену успокоиться. Ведь Анастасию определила на их попечение полиция. Он им немедленно даст знать. Баронесса не должна тревожиться.

К ночи они все были встревожены. Одна из дочерей Кляйстов решила преподнести Анастасии сюрприз, явившись без предупреждения к Кларе Пойтерт. Но, оказавшись в захудалой двухкомнатной квартирке Клары на Шуманштрассе, Анастасию она там не обнаружила. Более того, Клара утверждала, что ей ничего не известно об исчезновении Анастасии. Не добилась успеха и полиция, прибыв туда позже. Почему они не могут оставить в покое приличную женщину (т. е. ее)? – кричала Клара; до чего же дошло, что законопослушная гражданка не может быть уверена в своей безопасности в собственном доме! Во всяком случае, она сообщила им, что никаких сведений о местопребывании великой княжны у нее нет. «Некоторые противоречия свидетельствуют о том, что она не говорит всей правды», – доложили полицейские, но никаких признаков Анастасии в ее квартире не было.

Беглую «великую княжну» обнаружила в конце концов не полиция и не Кляйсты. После двухдневных поисков друг капитана фон Швабе Франц Енике заметил ее стоявшей на мостике у Берлинского зоопарка. Помня о привязанности Анастасии к животным, он провел всю ночь в поисках ее в Тиргартене, самом большом и красивом из берлинских парков. Увидев ее на мостике, Енике поднял крик. Понимает она, что она делает? Знает она, сколько беспокойства она причинила?!

Енике и дух не успел перевести. «Беспокойство?!» – воскликнула Анастасия. Да что г-н Енике в этом понимает! «Она рассказала мне, что у Кляйстов с ней очень плохо обращались, – сообщил Енике. – Они не оставляли ее в покое, всегда принуждали говорить о прошлом». Каждый день барон представлял ей новых людей и требовал, чтобы она рассказывала каждому свою историю. Ей не давали спать по ночам! Это было ужасно. «Барон фон Кляйст и обе его дочери обходились с ней ужасно».

Поскольку Анастасия ясно дала понять, что скорее останется на ночь в зоопарке, чем вернется к Кляйстам, Енике привел ее к себе в квартиру и дал ей возможность там устроиться. Он тоже потерял всякое терпение с бароном. В тот же вечер, в обществе отца Алисы Швабе, он направился к барону, чтобы сообщить ему, что Анастасия больше никогда, ни при каких обстоятельствах, не согласится у него жить, но барон был в таком же отвратительном настроении, как и все остальные. Прекрасно, отвечал он. Енике и чета Швабе могут забрать ее к себе. Однако им придется ее содержать, а это означает расходы: всем было известно, что у Швабе денег не было.

Ничего, вмешался отец Алисы Швабе, он достал уже все необходимые средства «из русских источников». «Только вы держитесь подальше от нас», – рявкнул он, когда барон фон Кляйст указал ему на дверь.

От баронессы было не так легко избавиться. Она была встревожена и хотела сделать всё возможное, чтобы помочь. Семнадцатого августа она явилась в квартиру Енике и застала Анастасию спокойно сидевшей в гостиной. Анастасия отвернулась и отказалась с ней поздороваться.

«Вы со мной не хотите говорить? – спрашивала баронесса. – Почему вы со мной не разговариваете?»

Анастасия плакала. «Mamchen (мамочка), – произнесла она наконец, – я такая грязная, я не могу смотреть вам в глаза». Она повторила несколько раз: «Я такая грязная».

«Что нам делать?» – спросила баронесса.

У Енике была на этот счет одна идея. Как член зарождающейся (и на тот момент маловлиятельной) нацистской партии, Енике был уже известен полиции. Там он познакомился с единомышленником, инспектором Францем Грюнбергом, слушавшим с жадным вниманием его рассказы об Анастасии. Кто бы мог о ней лучше позаботиться несколько недель, чем Грюнберг, историк-любитель, кто как не опытный детектив мог бы одновременно и помочь решить ее дело?

Никому не пришло в голову спросить Анастасию, согласна ли она жить у полицейского инспектора, но в данных обстоятельствах это соображение казалось не особенно важным, и 21 августа, познакомившись с инспектором Грюнбергом, Анастасия переехала в его загородную усадьбу Функенмюле, неподалеку от Зоссена.

Она осталась довольна своим решением. В Функенмюле она обрела покой после беспорядочной унижительной жизни в колонии русских монархистов. Часами она бродила по лесу и берегу озера, собирала цветы и грибы. (Как убедился инспектор Грюнберг, это была целая наука: Анастасия с одного взгляда определяла, какой гриб сорвать, а какой – нет.) Она начала заниматься рисованием, играла с племянниками и племянницами инспектора и, когда ей случалось быть в хорошем самочувствии, всегда садилась за стол с семьей Грюнберг.

В этой непринужденной атмосфере инспектор имел возможность понаблюдать за Анастасией на досуге. «Она утверждает, что она младшая дочь царя, – сообщал Грюнберг, – и ее рассказы о жизни царской семьи в Тобольске и Екатеринбурге, очевидно, основаны на подлинном знании». Грюнберг был так поражен убедительностью рассказов и так сочувствовал стремлению Анастасии обрести прочную безопасность, что взял на себя личную ответственность за ее восстановление в правах. При посредстве начальника полиции в Бреслау инспектор нашел возможность обратиться к принцессе Прусской Ирене, сестре императрицы Александры Федоровны, с предложением приехать в Функенмюле для встречи с Анастасией. Это дерзкое предложение было принято.

Клара Пойтерт уже оповестила принцессу Ирену о положении Анастасии в загадочных письмах, вероятно, получивших в усадьбе Ирены Хеммельмарке весьма холодный прием. Ирена помнила младшую дочь сестры здоровой, бойкой, проказливой двенадцатилетней девочкой и не была готова к мысли, что любимая племянница только что вышла из сумасшедшего дома: видение екатеринбургского подвала невозможно было даже вообразить. При этом дело Анастасии было слишком запутанно. Баронесса Буксгевден, посетившая Анастасию в Дальдорфе, когда ту принимали за великую княжну Татьяну, гостила тогда у Ирены, – и ее отрицательное впечатление, несомненно, не осталось незамеченным в Хеммельмарке. Но Ирена всё же, вероятно, надеялась на лучшее, так как она прибыла в Функенмюле в сопровождении фрейлины, исполненная чувства ответственности и сознания долга.

Анастасию не оповестили о грядущей встрече. Она встретилась с принцессой Иреной и ее спутницей в столовой. Обеих дам ей представили под вымышленными именами.

«За ужином, – вспоминал инспектор Грюнберг, – ее королевское высочество усадили напротив Анастасии, чтобы она могла к ней приглядеться. Принцесса не узнала ее, но вынуждена была признать, что последний раз видела царскую семью десять лет назад».

Три года спустя после этой встречи принцесса Ирена высказалась категорически: «Я сразу же увидела, что она не могла быть одной из моих племянниц. Хотя я не видела их более девяти лет, черты лица не могли настолько измениться, в особенности глаза, уши и т. д. <...> С первого взгляда можно было заметить некоторое сходство с великой княжной Татьяной».

Сидя напротив пристально смотревшей на нее Ирены, Анастасия вдруг вскочила и, не сказав ни слова, убежала к себе в комнату. Хотя принцесса «уже решила, что это не ее племянница, <...> по просьбе инспектора Грюнберга» она «вошла в комнату Анастасии и приблизилась к постели». Последовал бесплодный допрос. Анастасия, закрыв лицо руками, отвернулась от принцессы и отказалась отвечать на ее вопросы. «Она даже не ответила, когда я попросила ее сказать что-нибудь или дать мне знак, что она меня узнала, – писала Ирена. – То же самое было, когда я спросила ее: “Ты меня не узнаешь? Я твоя тетя Ирена”». Через некоторое время принцесса оставила свои попытки, собралась и уехала.

Вскоре после этого прибывший в Функенмюле Франц Енике нашел семейство Грюнберг в смятении. Энергия, с какой инспектор ругал Анастасию, поразила даже Енике, который, как и все берлинцы, за резким словом в карман не лез. Анастасия заперлась у себя наверху, и Енике пришлось стучать, умолять и угрожать в течение двадцати минут, пока его не пустили. Он нашел молодую особу «очень расстроенной».

На протяжении многих лет впоследствии Анастасии суждено было выслушивать, как «невнимательна» и «груба» была она с Иреной Прусской. Но у нее было свое мнение на этот счет, которое она и выразила на своем отрывистом немецком вскоре после встречи с принцессой:

«Я *не* была груба. Это случилось так. Я была больна. (Опухоль на груди Анастасии нагноилась.) Мне пришлось выйти, в комнате было темно, потом вошла дама. Голос знакомый, и я слушала, но не знала, кто это, потому что имя другое. За столом лицо мне было знакомо, но я не знала, была не уверена. Потом я узнала тетю Ирену. Я была в лихорадке, я ушла. Тетя Ирена пришла ко мне, задавала много вопросов. Я стояла у окна и плакала; поэтому я повернулась к ней спиной; я не хотела оборачиваться не потому, что я была груба. Я плакала».

Анастасия также описала свои чувства словами «ошеломлена» и «уничтожена», когда она поняла, что «тетя Ирена» приезжала увидеть ее под чужим именем, «как посторонняя». Ведь именно для встречи с принцессой Иреной Анастасия предприняла долгое и тяжелое путешествие из Бухареста в Берлин в 1920 году. Позднее, при посредстве Клары Пойтерт, она обращалась к ней из Дальдорфа. А теперь Ирена вдруг появилась без предупреждения, и у нее даже не хватило приличия назвать себя: «Я *не* была груба с ней».

Ирена Пруская объяснениями никого не удостоила. Инспектор Грюнберг мрачно сообщил, что она была «глубоко оскорблена» поведением Анастасии, – «и не без причин. Она больше не желает слышать об этом деле».

Так закончилась первая краткая встреча Анастасии с близкой родственницей. «Мы были раньше так близки, – заявила Ирена, – что хватило бы с ее стороны малейшего знака, жеста, чтобы возбудить во мне родственное чувство и убедить меня». Говорить больше было не о чем. «Я не могла ошибиться, – возражала Ирена много лет спустя, когда услышала, что ей не верят. – Я не могла ошибиться!» Внезапно принцесса разрыдалась. Ломая руки, она воскликнула в порыве подлинной душевной муки: «Да, она похожа, похожа, но какое это имеет значение, если это не она?!»

И действительно, какое это имеет значение? Высказывались надежды, что принцесса Ирена смягчится и взглянет на Анастасию еще раз. Сама Анастасия желала примирения. Но принц Прусский Оскар, сын кайзера, (его попросили повлиять на Ирену в этом направлении), отвечал, что новая встреча «абсолютно исключена». Вся эта история, по его словам, так «ужасно» расстроила Ирену, что ее муж, принц Генрих, запретил даже говорить об Анастасии в своем доме.

Точка.

С неудачной встречи с Иреной Прусской начался период, который один из друзей Анастасии назвал *die Schattenzeit* («время теней»): два с половиной года самых невероятных слу-

хов, сплетен и бесконечных горьких взаимных обвинений. Борьба за Анастасию и ее расположение возобновилась, когда разочарованный, и не без оснований, инспектор Грюнберг отослал ее в Берлин к Францу Енике и его жене. Супруги Енике делали всё, что могли, чтобы облегчить ей жизнь, но скоро ее скандальная известность, не говоря уже о тяжелом характере, их утомила. В октябре 1922 года, когда Енике вызвали в Мюнхен по партийным делам, его жена ясно дала понять, что одной ей с Анастасией не справиться. Анастасия поняла. Она уже сложила вещи и готовилась вернуться в Дальдорф, когда услышавшая об этом баронесса фон Кляйст поспешила к Енике и заявила, что этого она не потерпит: Анастасия может жить как ей угодно, но жить она будет у Кляйстов.

Анастасия была слишком измучена, чтобы спорить, но торжество баронессы длилось недолго. Анастасия не прожила у Кляйстов и трех недель, когда доктора признали воспаление у нее в груди не чем иным, как туберкулезом костей грудной клетки в начальной стадии. Вскоре под именем «Анны Чайковской, урожденной Романовой» она поступила в больницу Вестенд в Шарлоттенбурге. Счета за ее пребывание там оплатил сочувствующий приятель барона фон Кляйста. Анастасия оставалась в Вестенде три месяца и снова вернулась туда всего после недели дома.

Большую часть следующего, 1923 года Анастасия провела в больнице. «Она вернулась к Кляйсту ненадолго, – сообщала полиция, – но больше времени провела у Пойтерт... которая, по свидетельству инспектора Грюнберга, имела на нее большое влияние». Отношения между Анастасией и Кларой Пойтерт никогда еще не были более близкими. Клара была для нее хозяйкой, прислугой, кухаркой, камеристкой, тетушкой, рупором и придворной шутихой в одном лице. Но и остальные друзья Анастасии ждали своей очереди. Она снова прожила какое-то время у Енике и у Швабе. Инспектор Грюнберг был так добр, что предоставил ей приют в доме своей племянницы Евы Валь. Сын фрау Валь, Конрад, сохранил смутные воспоминания о «молчаливой иностранке», часами сидевшей в кресле и говорившей, что случалось очень редко, «больше по-английски, чем по-немецки». «Еще задолго до этого она решила притвориться, что забыла русский, – рассказывала женщина, видевшая ее у Грюнбергов, – опасаясь большевиков, которые убили бы ее, узнав, кто она. Хозяин дома, однако, разоблачил ее однажды на свой лад. Он употребил в ее присутствии русское ругательство, причем, как он и ожидал, она вздрогнула, покраснела и укоризненно воскликнула: «Aber Herr Doktor!» Она всегда вносила какой-то элемент этикета в любую ситуацию, «никогда не выходила из дома без перчаток», например, и относилась к старшим «с вежливостью хорошо воспитанной девушки из высокопоставленной семьи... Я припоминаю, что она всегда приветствовала всех подобающим образом, никогда не забывая звания и титула».

То и дело попадая в больницу, будучи предметом всеобщего любопытства, Анастасия вела в то время какую-то бродячую жизнь. «Неким странным образом она перемещалась из одной семьи в другую», – рассказывала женщина, встретившая ее несколькими годами позже. Анастасия воспринимала это с горечью. «Меня передавали из рук в руки. Люди ненавидели тех, у кого я находилась». Но Анастасия играла в этой драме абсурда главную роль. Она без всякого повода с презрением отвергала своих покровителей и без малейших колебаний навязывала свое присутствие тем, к кому была на тот момент расположена. А расположение ее менялось так же часто, как и ее адрес. Инспектор Грюнберг сообщает, что всякий раз, водворившись у Кляйстов, она снова убегала. «Она поступала так четыре раза, и каждый раз Кляйсты возвращали ее к себе». Анастасия объяснила это Грюнбергу «опасениями быть преданной русскими эмигрантами с их назойливыми домогательствами».

Русские монархисты совсем не считают с ее чувствами, жаловалась Анастасия. Как могут они, сидя в своих уютных гостиных, распространять гнусную ложь о ее матери и Распутине? «Он святой, – заявляла Анастасия, когда кто-либо критиковал Распутина в ее присутствии. – Он был преданным другом. Он говорил моей матери о заговорах против нас и защи-

щал нас. Я думаю, он был наш единственный друг... А теперь эмигранты говорят чудовищные вещи. Хуже всех Кляйст. Он сказал мне, что последние годы перед революцией Россией правила истеричка». Истеричка – назвать так свою государыню!

Кляйст во многом провинился. «Он никогда не скрывал, что хочет на мне заработать», – говорила Анастасия. Он просил ее подписать вексель на пятьдесят тысяч датских крон, которые она обязывалась выплатить ему, когда ее признает живущая в Дании бабушка. «Он открыто говорил, что рассчитывает получить с вдовствующей императрицы большие деньги». Разумеется, Анастасия отказалась. Раз он явился к ней в комнату с «неприличными предложениями». Она не уточнила, какими именно. Это было «ужасно».

И как будто одних монархистов было мало, за ней еще гонялись и «газетчики». Франц Енике подтверждал впоследствии, что много потерял, отказываясь от предложений, которые делались ему в отношении Анастасии. Другие, однако, не отличались такой щепетильностью, и всякого рода сомнительные сенсационные публикации, появлявшиеся в газетах, доводили Анастасию до отчаяния. Самые интимные и трагические подробности ее жизни, «чудовищно искаженные», становились общим достоянием. Ее притязания на имя великой княжны преподносились как «важное политическое состязание, в котором мог однажды оказаться призом трон Романовых». Только одна Анастасия могла понять, какое впечатление эти рассказы могли произвести на королевские дома Европы, где никогда не терпели никакой огласки.

Мнения и заключения основывались на слухах. В этот период Анастасия предстает в печальном облике, перебираясь с больничной кровати в Вестенде на грязную софу у Клары Пойтерт, бродя в одиночестве по великолепным берлинским паркам, глядя на шоколад и конфеты в витринах и сидя в ночных кафе, соображая, куда ей идти дальше. Однажды на вопрос Клары, где она была, Анастасия отвечала, что бродила всю ночь, не желая или не осмеливаясь искать приюта у эмигрантов. И русских монархистов призывали признать эту девушку дочерью императора! Многие ее высказывания их сильно задевали. Так, например, ей надоело слышать о ее браке с Александром Чайковским, и она напомнила своим покровителям, что сестра царя, великая княгиня Ольга Александровна, развелась с мужем незадолго до революции и вышла замуж за простого гвардейского полковника. Что было позволено дочери Александра III, могло быть позволено дочери Николая II.

В то же время эмигранты были едины в своем мнении, что девушка отличалась гордостью и бесстрашием. В 1923 году в монархистской колонии распространился слух, что видный деятель Екатеринбургского Совета – некоторые говорили, что это был сам цареубийца Юровский, – прибыл в Берлин и остановился в советской миссии. Этот слух дошел и до Анастасии. Она одна отправилась к Бранденбургским воротам, как-то пробралась в посольство и ждала советского представителя в передней. Так и не было выяснено, зачем она там оказалась, но люди шепотом передавали друг другу, что у нее в руках был флакончик с ядом и что «убийце» повезло, так как он не явился.

Пока Анастасия бродила по улицам и кормила животных в зоопарке, русские монархисты обвиняли друг друга в уничтожении ее шансов на признание. Барон фон Кляйст, еще более утративший популярность, винил во всем «крайнюю осторожность и сдержанность» Высшего монархического совета. Кляйст слышал, что совет собрал деньги для Анастасии, – многие заявляли, что они этим занимались, – но руководители Совета отказывались окончательно признать ее права без благословения Русской православной церкви. Церковь, естественно, хранила молчание ввиду отсутствия всякого общения с самой Анастасией. И все они вместе отказывались занять решительную позицию, пока члены семейства Романовых вели себя так, словно Анастасии вовсе не существовало. Ничто, казалось, даже самое искреннее негодование монархистов, не могло вывести Романовых из состояния апатии, безразличия. Например, Зинаида Толстая, царскосельская приятельница императрицы Александры Федоровны, обна-

ружила особую причину уверовать в Анастасию. Однажды вечером она и Кляйсты сидели в гостиной барона, болтая о том о сем и по очереди играя на пианино.

«А вы играете?» – спросила г-жа Толстая.

Анастасия отвечала, что ребенком она училась, но у нее повреждена рука и она не может различать ноты. «Мы танцевали, – продолжала она, – мы так любили танцевать».

Г-жа Толстая пробежала пальцами по клавишам. Внезапно она заиграла вальс, сочинение ее брата, который она часто играла в Царском Селе и под который танцевали царские дочери.

«Результат, – вспоминает баронесса фон Кляйст, – был потрясающий». Анастасия побагровела, зарыдала и упала на софу. Г-жа Толстая, в свою очередь, упала на колени и, целуя руки Анастасии, спрашивала, узнала ли она вальс. Слезы были ей ответом. Г-жа Толстая была настолько потрясена этой реакцией, что тут же телеграфировала двум сестрам царя, жившим с вдовствующей императрицей в окрестностях Копенгагена, умоляя их немедленно сделать что-то для Анастасии. Полученный ею ответ был, наверное, категорическим отказом, поскольку с того времени визиты Зинаиды Толстой прекратились. Барон фон Кляйст сказал Анастасии, что г-жа Толстая однажды сказала, уходя: «Великая княжна не может иметь ребенка от простого солдата».

Спустя некоторое время Зинаида Толстая, вновь обретя душевное равновесие, рискнула опровергнуть свидетельство Софии Буксгевден, организовавшей в Дании целую кампанию против Анастасии. «На нас это не произвело никакого впечатления, – говорила сестра царя Ольга, когда позднее ее просили объяснить явное равнодушие Романовых к бедственному положению Анастасии, – потому что мы знали, что все наши родные убиты в Екатеринбурге. Мы слышали от офицеров и других надежных людей... что все были убиты... А потом преданная баронесса С.Буксгевден писала (а позже и лично нам сообщила), что ее просили посетить эту особу, которая закрыла лицо и отказалась говорить. Тогда она откинула одеяло и воскликнула: “Нет, то не Татьяна! Эта женщина невысокого роста, а Татьяна была выше меня...” Она уехала в полном убеждении, что это не Татьяна».

Татьяной она и не была, но почему «преданная баронесса С.Буксгевден» не упомянула другую возможность? Анастасия вела тем временем свою собственную кампанию, заявляя всем, кто готов был ее слушать, что отказ баронессы признать ее был вызван чувством вины. «В Екатеринбурге, – объяснял инспектор Грюнберг, – планировалось освобождение царской семьи, однако, по словам Анастасии, план этот был выдан большевикам фрейлиной баронессой Буксгевден в попытке спасти собственную жизнь. «Нам было ясно, что имело место предательство, – сказала Анастасия. – Мы говорили об этом в заточении. И тогда...»

На этом она прервалась. Где была «Иза», когда они все нуждались в ней? – спрашивала Анастасия, называя баронессу именем, данным ей в царской семье. Почему большевики дали ей свободу, когда многие другие погибли? «Я помню, как папа и мама сидели в Екатеринбурге и говорили, что не могут понять, почему Иза так изменилась в Тобольске. Мы знали, что нас должны освободить, и когда этого не произошло, папа и мама связали эту неудачу с изменившимся поведением Изы. Они верили, что Иза выдала план нашего спасения. Я не могу это забыть».

Нет необходимости говорить о ярости «Изы», узнавшей о своем превращении в злодейку. Но баронесса была не единственной, кого обвиняли в «измене». Один русский аристократ, видевший Анастасию в Берлине, вспоминал:

«Однажды вечером она особенно разговорилась и оживленно, даже горячо, толковала о причинах революции. Она винила во всем русское общество. Люди думали только о себе, а не о стране; офицеры увлекались больше пьянством, чем службой; члены царской семьи нарушили присягу и ввязались в интриги; они не поддерживали царя (она называла его папа), который был слишком добр... Она всё время возвращалась к одной мысли: она не может понять, почему никто не пытался спасти семью, их просто обрекли на уничтожение. Она не может понять,

почему сейчас все и всё против нее, намеренно осложняя очень простое дело... С огромной уверенностью, явно побуждаемая мстительным чувством, она заявила, что знает, кто должен быть наказан, чьими черепами “следует вымостить улицы”».

Что можно было поделаться с этим злопамятным привидением? Решимостью Анастасии открыто высказывать свои довольно-таки византийские воззрения можно объяснить реакцию еще одного эмигранта, встретившегося с ней примерно в это же время. Капитан Николай Павлович Саблин, бывший офицер царской яхты «Штандарт», был единственным человеком из многочисленной свиты, покинувшим царя в начале революции. Саблину так и не удалось заглаживать этот поступок, и дочь Николая II едва ли могла такое забыть. Неудивительно, что встреча Саблина с Анастасией в берлинском ресторане была неприятной. В обществе еще одного офицера со «Штандарта» Саблин ужинал с бароном фон Кляйстом и «несколькими дамами, среди которых была особа, называвшая себя великой княжной Анастасией Николаевной, чудом избежавшей гибели вместе с остальной царской семьей. Разговор зашел о “Штандарте”, о Ливадии, о фиордах (в Финляндии, где каждое лето бывала царская семья), о царской семье, – вспомнил Саблин, – всё для того, чтобы наблюдать реакцию упомянутой особы».

В отчете капитана Саблина говорится, что он не мог сам определить, кто из дам предполагаемая царская дочь, и ему пришлось спросить. «Мне указали на молодую женщину рядом с баронессой фон Кляйст... Никакого сходства с великой княжной я в ней не обнаружил». Позднее барон фон Кляйст осведомился, узнал ли Саблин Анастасию. «В негодовании от того, что от меня ожидали узнать великую княжну в этой особе, я отвечал: “Хоть голову мне рубите, но я не вижу в ней ни малейшего сходства с великой княжной”».

А что делала всё это время «упомянутая особа»? По словам Саблина, «оставалась совершенно равнодушной».

Так ли? Баронессе фон Кляйст сопровождавший Саблина офицер сказал: «Если бы она заговорила по-русски и что-то упомянула о прошлом, я бы ее тут же признал, потому что сходство было исключительное». Марианна Нилова, вдова капитана «Штандарта», увидевшая Анастасию в Берлине, узнала ее по цвету глаз. Племянница г-жи Ниловой рассказывала: «Она говорила нам, что смотрела в глаза царя. А когда Анастасия засмеялась, она сразу же узнала ее смех. У нее был очень характерный смех».

Что же происходит? Один очевидец поражен сходством Анастасии с царской дочерью, в то время как другой категорически это сходство отрицает. Один готов признать ее, стоит ей только упомянуть какие-то подробности из прошлого, другая видит ее отчаяние при звуках старого вальса. Один относится к ней подозрительно, так как она не говорит по-русски, другой – Франц Енике – готов поклясться, что кроме русского и немецкого она «знает еще английский и французский».

«Эмигранты были бы счастливы, если бы они могли ее узнать», – вздыхала Герда фон Кляйст. Но Анастасия «остаётся совершенно равнодушной». Одни сплошные противоречия. Всё еще только начинается.

Здоровье Анастасии ухудшалось, и осенью 1924 года она снова оказалась в Вестенде. Однажды утром она ушла оттуда без ведома врачей. Вскоре Кляйсты нашли ее у Клары Пойтерт и решили, что для них настал момент заявить свои права. На этот раз они обратились в полицию с официальной жалобой, перечислив все хлопоты, доставленные им Анастасией после выхода ее из Дальдорфа, и потребовали возвращения ее на Неттельбекштрассе. Полиции уже давно было безразлично, где пребывает Анастасия, и они ответили, что она может жить, где пожелает. Торжествующая Клара Пойтерт, взявшая на себя роль представителя Анастасии в эмигрантских кругах, возобновила обращения к Ирине Прусской, отказываясь верить, что та окончательно отказалась от Анастасии. «Почти каждый день, – писала Клара принцессе, – Анастасия приходит в мою маленькую кухню и просит меня написать ее любимой тете Ирине.

До настоящего момента я отказывалась, поскольку уважаю себя и не хочу, чтобы меня считали дурой, глупой или, еще хуже, сумасшедшей». Логично, но *не слишком* тактично. Клара умоляла Ирену взять Анастасию в Хеммельмарк. «Если она окажется мошенницей, самозванкой или безумной, всегда будет возможность поместить ее в больницу».

В конце 1924 года официальный представитель Хеммельмарка писал барону фон Кляйсту от имени мужа Ирены, принца Генриха Прусского: «Его королевское высочество... уполномочил меня сообщить Вам, что он, как и его супруга, после ее визита к Вашей подопечной пришли к окончательному и неоспоримому выводу, что она не является царской дочерью, а именно Анастасией. Принц Генрих считает этот вопрос решенным и просит Вас воздержаться от дальнейших писем и просьб к нему и принцессе. Их высочества были бы признательны, если бы Вы оказали влияние в этом же смысле на Вашу подопечную и фройляйн Пойтерт».

Именно такого ответа и ждал барон фон Кляйст. В последовавшей за ним записке была высказана просьба вернуть в Хеммельмарк все материалы – были упомянуты «несколько писем», – имеющие отношение к общению принцессы Ирены с Анастасией. Барон фон Кляйст исполнил просьбу с большой готовностью. Теперь, когда Кляйст вышел из игры, стало почти невозможно найти в русских монархистских кругах кого-то, кто бы принимал Анастасию всерьез. По общему мнению, барон фон Кляйст был олух и простофиля. Никто не сомневался, что еще до конца года Анастасия – вместе с Кларой Пойтерт – вернется в Дальдорф.

Разрыв с Кларой, возможно, дался Анастасии тяжелее всего. «Высокое мнение» Клары о себе было основательно подорвано. Что случилось с ее друзьями-эмигрантами? Ей доставляли такое удовольствие их внимание, дружба, уважение. А что теперь? Это всё Анастасия виновата. Что принесла кому-либо великая княжна, кроме насмешек и горя?

Клара стала ее бить. Анастасия никому и словом об этом не обмолвилась, но свидетельства тому имеются. «Я ее иногда в кисель превращала», – злорадствовала Клара, когда об этом заходила речь. Но Анастасия, говоря впоследствии о своей «ссоре» с Кларой, упомянула только статью, отвергавшую ее притязания, в скандальной берлинской газетенке в конце 1924 года. Клара хотела, чтобы Анастасия опровергла ее, но Анастасия решила, что с нее хватит, и отказалась.

Клара ее выгнала. «Она выставила меня на лестничную площадку! – восклицала Анастасия, не в силах поверить в происходящее. – Это было глубокой ночью». Два с половиной года спустя, после освобождения из Дальдорфа, Анастасия оказалась полностью покинутой русскими эмигрантами.

Бедная рабочая семья Бахман услышала рыдания Анастасии на лестнице. Позже она говорила об этих людях: «Они делили со мной последний кусок хлеба и заботились как могли. Если у меня когда-нибудь будут деньги, мое самое большое желание помочь этим людям, приютившим меня по доброте, не спрашивая, кто я и что они будут за это иметь». Чтобы помочь с деньгами на свое содержание, Анастасия вышила носовой платок, проданный ею впоследствии Балтийскому Красному Кресту за тридцать марок. Она сочла это огромной суммой, и у нее зародилась мысль: она могла бы работать. Она могла бы зарабатывать на жизнь. Это стало у нее навязчивой идеей.

У Бахманов, «по догадке», Анастасию нашел инспектор Грюнберг в январе 1925 года; берлинский Центр социального обеспечения озаботился ее положением. Анастасия снова поселилась у инспектора, и он снова делал всё, чтобы улучшить качество ее жизни. «Я тщетно пытался заинтересовать русских эмигрантов положением несчастной девушки, – писал он позднее. – Эмигранты проявили полное равнодушие, и на них никак нельзя было положиться». Степень их «ненадежности» стала ясна инспектору в марте, когда странный случай довершил разрыв между Анастасией и ее бывшими «спасителями» из монархистской колонии. История эта, при многократных повторениях, сильно запуталась, но звучит она примерно так.

Однажды утром в квартире Клары Пойтерт появился молодой человек, якобы присланный из Дальдорфа. Увидев фотографию Анастасии, молодой человек сказал: «Я знаю эту даму». Затем он расплакался. На оборотной стороне фотографии он нацарапал карандашом: «Анастасия Николаевна... Иван... Алексей... Шоров... род. Питерсбург».

Клара отвела незнакомца к капитану фон Швабе, пользовавшемуся ее особой симпатией среди эмигрантов. Молодой человек сообщил Швабе, что он привез Анастасию из Румынии в Берлин, что он знал ее и ее «так называемого мужа» в Бухаресте, что они никогда не были женаты, что у Анастасии действительно был ребенок и мальчика можно найти в сиротском приюте в Галаце. Сведения эти он сообщил неохотно на причудливой смеси немецкого, французского и «русского просторечия». Никаких имен не называлось. Посетитель объяснил, что уже «провел полгода в тюрьме из-за этой румынской истории». Наконец, когда он узнал, что Анастасия живет за городом у Грюнбергов, он вручил капитану фон Швабе свою фотографию и письмо, с просьбой передать их Анастасии, когда она вернется.

Клара Пойтерт проворно заключила, что таинственный незнакомец не кто иной, как «деверь» Анастасии, Сергей Чайковский. Анастасии не пришлось с ним увидеться, так как к тому времени, когда она о нем услышала, он безвозвратно исчез. Клара настаивала, что пыталась рассказать о нем инспектору Грюнбергу, но когда она к нему явилась, он ее выгнал. («Они все считают меня сумасшедшей».) По возвращении Анастасии в Берлин, однако, инспектор попросил у капитана фон Швабе письмо и фотографию, оставленные незнакомцем. Швабе отвечал, что он их «потерял».

Потерял! Анастасия была вне себя. Вся ее накопившаяся враждебность и раздражение вылились в потоке ругательств. Она не сомневалась, что Швабе и его пособники убрали этого важного свидетеля и уничтожили письмо и фотографию. Ее слова, высказанные в отчаянии и в болезненном состоянии, в итоге привели чету Швабе в стан ее самых ожесточенных противников. К своему прискорбию, Анастасия убедилась, что русские монархисты в Берлине уже не оставались равнодушными к ее судьбе. Хуже.

Последние дни, проведенные Анастасией у инспектора Грюнберга, прошли, в общем, спокойно. Часть времени она проводила в усадьбе Функенмюле, часть в его элегантном городском доме на Вильгельмштрассе. Здоровье ее ухудшалось: туберкулез распространился на левую руку. Вскоре к ней вызвали приятеля Грюнберга, доктора Джозефа Каппа. «Она была очень робка и застенчива, – рассказывал доктор Капп корреспонденту “Нью-Йорк Таймс” три года спустя. – И только когда я завоевал ее доверие, она выразила готовность беседовать с миссис Капп... и со мной...»

Я заметил, если мне не изменяет память, два отчетливых углубления на теменных костях черепа, одно сверху, другое слева, соответствующих части мозга, ответственной за понимание слов. Возможно, этим объясняется тот факт, что эта женщина не могла тогда говорить по-русски. Углубления на черепе были отчетливо наружного происхождения и, может быть, результатом несчастного случая или нападения».

Для Анастасии жизнь проходила как в тумане. У нее остались только смутные впечатления от пребывания в доме Грюнберга, даже от важного визита, нанесенного ей весной бывшей германской кронпринцессой Цецилией Прусской. Этот визит, разумеется, организовал Грюнберг. Анастасия запомнила, как «прекрасно одета» была кронпринцесса и как ей самой было стыдно своего жалкого одеяния. «Она собиралась на концерт, – говорила Анастасия, – и обещала приехать еще, но так и не приехала». Кронпринцесса, со своей стороны, вспоминала, как ее «с первого взгляда поразило сходство молодой особы с матерью царя и самим царем, но с царицей никакого сходства не было... Установить ее личность возможности не было, поскольку с ней нельзя было общаться. Она всё время молчала, то ли из упрямства, то ли от полного замешательства. Я не могла понять, почему».

Итак, еще одна встреча кончилась неудачей. «Как она могла узнать меня за несколько минут? – горько жаловалась Анастасия. – Я так постарела, у меня такой странный вид из-за отсутствия зуба». Если бы только у кронпринцессы нашлось время приехать еще. «Она похожа на Ксению (сестру царя), – сказала Цецилия брату и добавила: – Я почти уверена, что это – Анастасия». Но инспектору Грюнбергу Цецилия сообщила, что «по мнению великого герцога Гессенского, брата убитой императрицы, совершенно невозможно, чтобы кто-то из царской семьи остался в живых». Почему? Цецилия не знала. Но поскольку великий герцог и его сестра Ирена Прусская отказались иметь дело с Анастасией, кронпринцесса сказала: «Я чувствовала, что не мое дело заниматься установлением ее личности».

«Я зашел в тупик», – признавался инспектор Грюнберг после этой второй бесполезной встречи. Грюнберг не отличался терпением. Он тут же стал искать нового покровителя для туберкулезной, истощенной Анастасии, ко всем бедам которой добавился еще острый плеврит. Решению Грюнберга бросить это дело, несомненно, способствовало давление свыше – полиция должна была заботиться о своей репутации, – и он, очевидно, вымещал свое раздражение на Анастасии, обвиняя ее в упрямстве. «Молодая особа отплатила мне за все мои усилия очень дурным поведением в моем доме, – писал он. – Если ее не признают той, кем она себя считает, то только по ее собственной вине». Однако Грюнберг дал ей следующую характеристику: «Анастасия, по моему мнению, не обманщица и не психически больная, вообразившая себя царской дочерью. Месяцами живя с ней бок о бок, я пришел к твердому убеждению, что она происходит из самого высшего общества и, возможно, царской крови. Ее каждое слово и каждое движение проникнуты достоинством, и у нее такая царственная осанка, какую можно было только иметь от рождения».

Инспектор Грюнберг назначил отъезд Анастасии на 3 июля 1925 года, и его, видимо, не беспокоило, найдется ли у нее, где жить, или нет. К счастью, помощь пришла в самый последний момент. При посредстве пожилой, добродушной немки-массажистки, подружившейся с Анастасией за несколько месяцев до того, ее история стала известна доктору Карлу Зонненшайну, известному филантропу, особенно интересовавшемуся проблемами русских эмигрантов в Берлине. Именно он нашел средство спасти Анастасию. Девятнадцатого июня, устроив ее в больницу Св. Марии, католическое заведение в восточном Берлине, Зонненшайн позвонил русской эмигрантке с нерусским именем, Гарриет фон Ратлеф-Кайлман. Гарриет фон Ратлеф, разведенная мать четверых детей, бежавшая в революцию из Прибалтики, зарабатывала себе на жизнь как скульптор и детская писательница. Она навсегда запомнила свое первое знакомство с делом Анастасии – «больной русской дамы, полгода прожившей у инспектора полиции, где ей невозможно было дольше оставаться. Доктор Зонненшайн подумал, что у меня найдется для нее время, и спросил, говорю ли я по-русски. “Вы слышали что-нибудь о царской дочери, которая осталась жива?” – спросил он».

Фрау фон Ратлеф ничего о ней не слышала. В тот же вечер она прибыла на Вильгельмштрассе, и вскоре, когда инспектор Грюнберг удалился, дверь в гостиную отворилась. «Я была изумлена и разочарована, – говорит фон Ратлеф. – Великой княжне должно было быть не больше двадцати пяти лет... Но она выглядела гораздо старше. Ей можно было дать все тридцать пять. На ней была темная безобразная юбка, темный свитер». Фрау фон Ратлеф сразу же всё заметила: «Худая, маленькая фигурка, измученное, осунувшееся лицо, движения, поза выжидающе-вежливые, и удивительное сходство с матерью царя и императрицей Александрой Федоровной».

Выступив вперед, Анастасия протянула руку. «Ее манера показалась мне более чем любезной, во всем сказывалось воспитание. Позже я узнала, что в состоянии возбуждения она всегда становилась чрезвычайно дружелюбна. Я рассказала ей, что доктор Зонненшайн позаботился о лечении ее руки, а затем инспектор Грюнберг написал ему и обо всем остальном. Она меня тепло поблагодарила. Мы договорились, что я на следующий день отвезу ее в боль-

ницу. Собираясь записать номер телефона, я заметила, что мне нечем писать... Я спросила ее по-русски что-то вроде: «У вас есть карандаш?» Она спокойно ответила: «Где-то здесь должен быть»».

Она говорила по-немецки. Под вопросительным взглядом Гарриет фон Ратлеф она продолжала: «Если бы вы знали, как это ужасно. Хуже всего, что я больше не помню русский. Я всё забыла».

Опустив голову, она заплакала.

Фрау фон Ратлеф взяла ее за руки: «Не волнуйтесь! Сначала нужно поправиться, и память к вам вернется».

«Вы думаете, я смогу поправиться? – спросила Анастасия. – Мне так бы хотелось!»

«Если вы очень захотите и будете доверять доктору и окружающим вас, конечно!»

Анастасия через силу улыбнулась. Затем ее лицо снова омрачилось. «Она хотела сказать что-то, но не могла». Наконец у нее вырвалось: «Я так боюсь. Снова незнакомые люди. Вы уйдете, когда я вам еще кое-что скажу. У меня есть ребенок, он – католик».

«Вы тоже стали католичкой?» – спросила после минутной паузы Гарриет фон Ратлеф.

«Нет, – отвечала Анастасия, – только свадьба была по католическому обряду, но мне говорят, что я должна перейти в католичество из-за ребенка. Но этот шаг мне очень труден. Вы понимаете почему? В больнице они будут стараться убедить меня. А я не могу. Мне это тяжело».

Фрау фон Ратлеф отвечала, что никто ее ни к чему не станет принуждать. «В любом случае, – продолжала она, – католическая церковь точно такая же, как греческая (православная!). Лютеранке на такой переход намного труднее решиться».

«Моя мать была лютеранкой, – сказала Анастасия, – потом...» – она умолкла.

«Но ваша мать стала православной, не так ли?»

«О да».

Снова полились слезы. Фрау фон Ратлеф сочла за благо уйти. По дороге к двери Анастасия вдруг побледнела, пошатнулась и упала в кресло: «Простите, сударыня, я не могу стоять».

«Я простила с ней», – сказала Гарриет фон Ратлеф. Анастасия не отвечала. Она молча сидела в кресле, глядя прямо перед собой.

Часть вторая Фрау Чайковская

Тени прошлого

Утром 20 июня 1925 года Анастасия дожидалась Гарриет фон Ратлеф в холле городского дома инспектора Грюнберга. Инспектор не вышел проститься. Проходя по Вильгельм – штрассе, Анастасия три или четыре раза оборачивалась на дом, как будто забыла там что-то. Наконец дом скрылся из вида, и спутница Анастасии взяла у нее из рук сумку.

«Нет, нет!» – воскликнула Анастасия. Она сама понесет сумку; пусть фрау фон Ратлеф не беспокоится.

«Мадам, я скульптор, – сказала Гарриет фон Ратлеф, – у меня должно быть достаточно сил».

Анастасия смотрела на нее непонимающе: «она, похоже, не знала, что значит скульптор».

«Я делаю фигуры из дерева», – продолжала фрау фон Ратлеф.

«О, как чудесно. Я тоже раньше рисовала». Анастасия улыбалась, и голос ее звучал весело. «И у меня неплохо получалось. Моя старшая сестра пела очень талантливо. Она прекрасно рисовала».

«А что вы рисовали? Пейзажи, цветы? С натуры?»

«Да, нас хорошо учили».

«А как звали вашего учителя?»

Вопрос положил конец разговору. Анастасия поднесла руку к глазам. Голос ее упал: «Это я не могу сказать». Гарриет фон Ратлеф выругалась про себя и потянулась за сигаретой, чуть не уронив портсигар.

«Надо же, – пробормотала она, – посыпались мои любимые сигареты».

Анастасия засмеялась. «Я тоже люблю курить. Но не теперь. Теперь мне это вредно».

Она вела себя так, словно ничего не произошло. «Вам позволяли курить? – спросила фрау фон Ратлеф. – Вы же были еще ребенок».

«Нам не позволяли, но мы потихоньку, особенно Татьяна. Она была очень хитрая», – Анастасия снова засмеялась.

Гарриет фон Ратлеф получила первый урок общения с Анастасией. Основное правило можно было сформулировать в двух словах: «Не торопить события».

Дружба Анастасии с Гарриет фон Ратлеф начала складываться уже в эту первую поездку на поезде в больницу Св. Марии – сочувствие, доверие, особая близость. Вместе они составляли очень странную пару: девушка, претендовавшая на имя дочери последнего царя, и безвестная скульпторша из Прибалтики, которую знакомая однажды охарактеризовала как «мелкобуржуазную провинциалку с лицом вроде губки». Фрау фон Ратлеф была урожденная Гарриет Кайлман, дочь врача-еврея, обратившегося в католичество. Таким образом, ей удалось без помех вести независимое существование на периферии русского православного общества. Несмотря на свои предрассудки в этом отношении, Анастасия никогда не упоминала еврейское происхождение фрау фон Ратлеф. Та, со своей стороны, опасалась, как бы в общении с Анастасией ей не совершить какой-то промах. «Я не понимаю, как простой крестьянин мог войти в вашу жизнь», – сказала она ей однажды, имея в виду Александра Чайковского.

Анастасия улыбнулась, «как будто она (фрау фон Ратлеф) сказала какую-то глупость». Фрау фон Ратлеф продолжила: «Крестьяне грубы и невоспитанны. Я думаю, я сама могу иногда повести себя с вами неправильно».

«Каким образом? Что вы хотите сказать?»

«Ну, например, в присутствии вас или членов вашей семьи я могу войти в комнату впереди вас, потому что в положении гостя это так естественно».

«Мадам, – возразила Анастасия, – я не понимаю, как можно так рассуждать? Это не имеет значения. С папа и мама это другое дело. Но для нас, детей, это было безразлично; мы были такие же, как все, просто дети».

В последующие месяцы Гарриет фон Ратлеф пришлось убедиться, что «просто дети» совсем не означало «такие же, как все». Но в тот момент она оценила старания Анастасии дать ей почувствовать себя непринужденно. Хотя Анастасия всегда в известной степени сохраняла чувство дистанции и официальный тон – она, например, никогда не называла фрау фон Ратлеф по имени, – она с самого начала ощутила в Гарриет фон Ратлеф потребность в теплом человеческом общении. В первую ночь в больнице, оказавшись в окружении шумных женщин из берлинских трущоб, она позволила фрау фон Ратлеф уложить себя и поцеловать на прощание. Анастасия тоже нуждалась в общении и теплоте. «Хочу скорее поправиться, – сказала она на ломаном немецком. – Всё здесь так странно». Даже в моменты кризиса она старалась дать понять фрау фон Ратлеф, как она ей благодарна. «Я знала многих из Прибалтики, – сказала она в их первый вечер вместе. – У нас их было много и дома. Поэтому я рада, что вы со мной, потому что вы из Прибалтики... Немцы совсем другие... как бы это сказать...»

«Да, – отвечала фрау фон Ратлеф. – Говорят, что у русских широкая натура. Вы это хотели сказать?»

«Да, я именно это и хотела сказать. Они щедрые, не мелочные. Хорошие немцы тоже есть, но они другие».

Они пили кофе, ожидая доктора Людвиг Берга, больничного священника. «Я так хочу домой», – сказала Анастасия.

«Нас теперь туда не пустят, – без обиняков отвечала фрау фон Ратлеф. – А где ваш дом? Вы имеете в виду Петербург?»

«Гатчину и Царское Село, – не задумываясь, сказала Анастасия. – Это самое лучшее время, это дом».

«Она взяла меня за руки, – говорила фрау фон Ратлеф. – Ее собственные руки дрожали. Она походила на маленькую девочку, потерявшую родителей, которую мне выпало опекать. Мне, которая сама оказалась во власти бурь и непогоды!»

«В четверг я стала такая старая, – продолжала Анастасия. – В четверг (18 июня 1925 года) мне двадцать четыре года». Она и правда выглядела постаревшей. Она выглядела развалиной – пока что-то не увлекало ее и она не забывала обо всем.

«Что это там?» – Анастасия указала на полку в кабинете доктора Берга.

Фрау фон Ратлеф достала с полки русскую куклу ручной работы. «Она рассмеялась звонко и весело, как ребенок. Внезапно она сразу помолодела». Но это мгновение быстро миновало. Анастасия снова прикрыла глаза рукой. «Как это было? Да, у нас были кокошники и красные платья. Мы с Марией танцевали. Мы всегда с ней танцевали». Фрау фон Ратлеф поняла, что эти простые радости – танцы, куклы, рисование, игра – имели свойство прерывать ее мрачную задумчивость.

Это, вероятно, и стало основанием их дружбы. Анастасия была «счастлива», когда однажды утром фрау фон Ратлеф пришла в больницу в яркой крестьянской рубашке. «Я похожа на русского мужика», – сказала она, смеясь. «Вовсе нет, – возразила Анастасия, – вы похожи на женщину, но художницу!»

Анастасия была права. Гарриет фон Ратлеф была художницей до мозга костей. Это проявлялось не только в ее скульптуре и сказках, которые она писала для эмигрантских детей; ее увлеченность и чувствительность находили выражение во всем, что бы она ни делала. Если что-то не занимало ее целиком, она вообще бросала всё. Это была страстная, пылкая, верная,

властная, наивная и сентиментальная натура. Для нее не было ничего прекраснее даров природы, ничего важнее свободной самореализации личности, ничего отвратительнее страдания и несправедливости. Друзья понимали ее, когда она впоследствии говорила им, что не верит в случай и что вся ее жизнь вела ее к встрече с Анастасией. Они поняли ее, когда она сказала, что должна написать об этом.

Пространное хаотичное описание их жизни с Анастасией, «Неизвестная берлинка», было опубликовано в 1928 году под заглавием «Анастасия: судьба женщины как зеркало мировой катастрофы». Первоначально фрау фон Ратлеф не собиралась издавать эту рукопись. Такое решение пришло позже, когда дело Анастасии повергло в панику королевские дома Европы и саму фрау фон Ратлеф обвинили в организации заговора с целью лишить семью Романовых ее законных прав. Она надеялась, что ее труд сможет убедить людей, что никакого заговора не было, что ее единственной целью было «найти подходящего, гуманного, порядочного человека, который терпеливо и доброжелательно сможет помочь малышке защитить ее права». Конечно, она сознавала особое историческое значение этого дела. Она не оставила без внимания ни одну самую мелкую подробность, ни одно случайное высказывание, ничто, что могло бы пролить свет на подлинную личность Анастасии. Записки фрау фон Ратлеф имели целью показать, не кто была Анастасия, но какой она была. Только так посторонние могли оценить ее непосредственность, веру в себя, ее полную бесхитрость.

«Откуда вы, мадам? (вопрос Анастасии в первый день их знакомства)».

«Я из Риги». Выражение лица девушки менялось стремительно, мысли, казалось, так и мелькали у нее в голове.

«Я знаю Ригу. Там было освящение памятника. Мы плыли на яхте. Весь город был украшен».

«На какой яхте?»

«На нашей, на “Штандарте”. Там ведь были трибуны?»

«Да, вокруг памятника».

«Вы там были?»

«Я вас видела; вы были маленькой девочкой с распущенными волосами».

«Мы все четверо там причесывались».

«А ваш брат? Почему его не было с вами?»

«Ему нельзя было, он был болен».

«Я его видела играющим на палубе “Штандарта” в белых морских брючках».

«Он всегда носил матроски. Если мой мальчик будет со мной, он тоже будет носить брючки; мальчикам это идет. Он (брат) был такой милый. Он очень любил кататься на роликах. И такой умный; потом он часто болел, и, когда у него были эти приступы, мы думали, что наступает конец. Это было ужасно».

«А вы, как младшая дочь, были самой любимой?»

«Нет, у мама не было любимчиков. Она любила быть с Марией, а так все были одинаковы. У меня были хорошие родители, – сказала она горячо. – Папа был такой добрый». Затем она пылко продолжала: «Если бы папа не был такой добрый, всё бы так не случилось. Маленького мы все баловали; конечно, его любили больше нас, девочек».

Но мы ничего не имели против, мы все его любили. Он был такой умный, часто ему приходилось бросать уроки, потому что он болел, но он быстро все нагонял. О, как мы его любили!»

Бесполезно спорить здесь о реальности ее воспоминаний. Кипы бумаги ушли на споры о подробностях. Никто из тех, кто увидел бы Анастасию в постели, с плотно закрытыми глазами, стиснутой челюстью, непрестанно перебирающими густые волосы руками, когда она пыталась вспомнить чье-то имя, название местности или какой-то факт из прошлого, не мог бы ус-

мниться в ее искренности. От усилий, каких ей стоило что-то припомнить – особенно имена – она обливалась потом.

Однажды Гарриет фон Ратлеф рассказала Анастасии, что видела в книжном магазине фотографию царской семьи: «Вы были тогда в заключении; на фотографии вы все сидите на крыше».

У Анастасии был такой вид, как будто кто-то дал ей пощечину. «Wie ist das möglich?» – восклицала она несколько раз. «Как это возможно? Откуда эта фотография? Это мои сестры снимали».

«Она вся дрожала, – говорит фрау фон Ратлеф. – Я старалась ее успокоить... ^aЯ вам принесу фотографию как-нибудь. Принести?» Она молча смотрела на меня». Фрау фон Ратлеф попыталась еще раз. «На одном снимке вы с маленькой собачкой».

«Нет, у меня не было собаки, у Татьяны была».

«Вы помните, как ее звали?»

Анастасия с силой проводила рукой по голове, словно стараясь удержать ее на месте. «Нет, не помню».

«Ее звали Джекки?»

«Нет, по-другому».

«Постарайтесь вспомнить; я вам скажу, если вы назовете ее правильно».

У фрау фон Ратлеф было такое впечатление, что мысли бились в голове Анастасии. «Мне редко случалось видеть, чтобы у людей так менялось выражение лица... Она закрывает глаза, веки у нее дрожат, мускулы лица дергаются... Наконец, она выпаливает: “Джемми!”

“Да, ее звали Джемми”».

«Вы так добры ко мне, – сказала Анастасия, – что мне легче думать и я вдруг многое вспоминаю. Да, маленький Джемми, собачка Татьяны». Но она снова возвращается к прежней теме: «Как это возможно? Где нашлись фотографии? Они были только у моих сестер».

Фрау фон Ратлеф нашла нужным сообщить Анастасии нечто ей неизвестное. «Анастасия, следователи нашли в Екатеринбурге всё, даже дневник вашей матери».

Выражение ужаса на лице Анастасии побудило ее поспешно продолжить: «Я вам его как-нибудь достану, когда вам станет лучше».

«Нет, прошу вас, нет, не сейчас!»

«Я вернулась домой очень расстроенная», – вспоминала фрау фон Ратлеф. Она решила в будущем не упоминать таких вещей. Но иногда Анастасия сама заговаривала о Сибири. Как-то она вспомнила о пребывании царской семьи в заключении.

«Это не произошло внезапно, – сказала она, горько улыбаясь, – уже в Царском всё стало плохо, а потом пошло хуже и хуже. Тут уже ничего не было, – она показала себе на плечи, – их сорвали, это было ужасно для папа». – Глаза ее наполнились слезами. (Анастасия имела в виду погоны.)

“Вас привезли в Екатеринбург прямо из Царского?”

“Нет, сначала мы были в другом месте, я не помню, как называется...” Она трет себе лоб, хочет что-то сказать, затем умолкает.

“Всё пропало, я не помню названия, я его знала раньше”, – говорит она в отчаянии.

“Оставьте, Анастасия, это неважно”.

“Тобольск!” – произносит она вдруг, выпрямившись в кресле и глядя на меня, как ожидающий похвалы ребенок».

«Как ребенок» – эти слова вновь и вновь повторяются в записках Гарриет фон Ратлеф. Ее приятельница, впервые увидевшая Анастасию на ногах в больнице Св. Марии, вспоминает: «Я поразились, увидев, какая она крошка!» Это не было заметно, когда люди видели Анастасию лежащей на подушках, с одеялом до подбородка, прикрывающую рот рукой, чтобы скрыть нехватку зубов. «Папа был тоже небольшого роста». Собравшись с силами, она поднялась на

ноги, доказав, что осанка у нее от папа. Фрау фон Ратлеф никогда не видела такой изящной позы. «Я истинная дочь солдата, – заметила с гордостью Анастасия, – и такой останусь. Папа был самым лучшим, самым храбрым солдатом». Он называл ее «малышка», и в записках и переписке фрау фон Ратлеф Анастасия снова стала *die Kleine* — «малышка».

«Мама меня тоже как-то называла, – продолжала Анастасия. – Какое-то забавное слово. Ребенком я была толстая. Вот она меня так и прозвала».

«А как?»

«Не помню... Это слово значило, что я толстая».

Толстой ее больше никто бы не назвал. При росте около 160 сантиметров Анастасия весила теперь около 36 килограммов. Но все-таки она как-то умудрялась доминировать везде, где бы ни появлялась. Одно ее физическое присутствие уже давало себя чувствовать. Во-первых, характерные нервные жесты – постоянно потирать рукой лоб, ерошить волосы, скручивать в узелки носовой платок. Ее также отличала некоторая нарочитость речи и движений, напоминавшая одной из ее знакомых «молодого оленя, готового вас боднуть». Обращала на себя внимание ее манера сидеть. Одна нога у нее всегда немного позади другой, обычно левая за правой, и сидит она всегда слегка наклонившись вперед.

Слушание превращалось у нее в активный процесс. На лице у нее появлялось сосредоточенное выражение, до смешного серьезное, а когда сама она начинала говорить, голос ее звучал как внезапный удар. Говорила Анастасия короткими, четкими, часто отрывистыми предложениями. Со словами она обращалась произвольно, совершенно пренебрегая правилами грамматики. Голос ее, временами высокий и даже пронзительный, вдруг становился хриловатым и мягким. Движения соответствовали ее звуковому диапазону. Она не шла по комнате, а летела. Она быстро оглядывалась по сторонам, потом подбородок ее резко опускался, и она удалялась «мелкими поспешными шажками, всем телом устремляясь вперед».

При всем этом она сохраняла неизгладимое изящество и скупость жестов, отмечавшиеся всеми, кто встречался с ней. Все упоминают ее «несколько надменную грацию», «прелестную шею» и «аристократические руки с тонкими длинными пальцами». Одна женщина, увидевшая Анастасию в гостях за чашкой чая, вспоминает: «Самое потрясающее в ней – ее глаза. Серо-голубые, постоянно меняющие оттенки, они сияют как звезды. В них ощущаешь бесконечную глубину, как в горных озерах. Я никогда не видела раньше таких глаз». Она не преувеличивает. Некоторые говорили, что такие глаза они видели раньше только раз.

С самого начала Гарриет фон Ратлеф поразила простота Анастасии, чувство собственного достоинства и склонность к самокритике. В одежде у нее был безупречный вкус. Кричащие туалеты, предпочитаемые многими другими самозванными принцессами в Берлине, были не для нее – во всяком случае пока. Даже когда у нее была возможность самой выбирать себе наряды, не считаясь с расходами, она выбирала очень элегантные костюмы неброских расцветок и строгого фасона. Ее мать, по словам Анастасии, «придавала этому большое значение». Но в ней была и некая экстравагантность. Например, в выборе браслетов: «Я еще ребенком носила браслеты. Без них мне как-то неловко; не могу это объяснить – без колец, колье и других вещей я могу обойтись, но не без браслетов». У нее было также пристрастие к светлым тонам: «Я, как бы это сказать, человек настроения; если я в белом, я в хорошем настроении. Черные платья, что я ношу теперь, я не люблю, но белый цвет так хорошо... раньше я всегда носила белое... И когда я вхожу в большие светлые комнаты, я чувствую, что могу дышать свободно, как дома».

Во всех этих проявлениях Гарриет фон Ратлеф узнавала *die Kleine*. Это была жалостливая маленькая девочка, которая хотела «подобрать всякую увиденную ею собаку» и которую приходилось силой удерживать от раздачи всех денег нищим. Это была жадная маленькая девочка, поедающая конфеты и обычно съедающая за обедом больше сладкого, чем других блюд. Это была шаловливая маленькая девочка, проказница, озорница, бросающая в лицо фрау

фон Ратлеф вечернюю газету и принимавшаяся щекотать ее, когда та причесывалась. Это была благовоспитанная, чопорная девочка, шокированная при виде фрау фон Ратлеф за чтением французского романа («Как вам не стыдно, такие книги нельзя читать»); девочка, любившая спорт и игры на открытом воздухе, желавшая иметь свой садик, прекрасно игравшая в теннис, тонко судившая о посадке всадников и всадниц, катавшихся в парке верхом («Ой, ой, вы бы видели, как они сидят на лошади!»); набожная девочка, желавшая ходить в церковь и снова стать «настоящим человеком»; пугливая девочка, боявшаяся оставаться одна; веселая девочка, с неистребимым чувством юмора, ужасно забавлявшаяся, когда одна из монахинь в больнице Св. Марии приняла фрау фон Ратлеф за ее мать, и хохотавшая до слез, когда фрау фон Ратлеф сказала: «Знаете, я недавно видела несколько фотографий принца Уэльского, и на всех он падает с лошади».

Беда была в том, что Анастасия на самом деле не была уже маленькой девочкой и ей не на всё хватало чувства юмора.

«Я стара, мадам, – сказала она однажды, – совсем стара внутренне».

Гарриет фон Ратлеф надеялась, что эти настроения пройдут со временем и при хорошем уходе. «Дитя, – говорила она, – всё изменится, когда вы поправитесь».

«О нет, мадам, так будет всегда... – Анастасия помолчала немного. – Я хочу показать вам кое-что, что я ношу в сумочке, это мамин талисман». Она достала и показала свастику, крест с загнутыми концами, уже получивший известность в Германии как нацистский символ.

Фрау фон Ратлеф в ужасе отпрянула. «Как вы можете иметь к этому какое-то отношение! Эта охота на ведьм отвратительна!»

«Это здесь, в Германии, мадам. На самом деле это древний индийский символ – символ удачи. Мама повсюду носила его с собой, до конца... Мама в него верила».

Гарриет фон Ратлеф убедилась, что мама занимала особое место в мире Анастасии. «Ее пытались опорочить... – Анастасия энергично качала головой, – но это ложь... На нее клеветали, как теперь на меня». Анастасия считала своим священным долгом защищать репутацию императрицы. Она боготворила ее. Фрау фон Ратлеф принесла ей фотографию императрицы с цесаревичем Алексеем. Анастасия была очень довольна. «Здесь мама смеется, она так редко смеялась. Как она прекрасна! А брат мой здесь уже болен. Мама всегда была печальна. Такие были обстоятельства... Я думаю, она была печальна и много молилась, потому что всегда чувствовала, что наступает что-то страшное. Мама всё предвидела заранее. Разве не ужасно, что так оно и вышло? А раньше мама была счастлива...»

У Анастасии тоже был дар предвидения. В ней был какой-то мрачный мистицизм, еще более разившийся под влиянием жизненных обстоятельств. Она знала, что имя «Анастасия» означает «воскресение из мертвых». От ее внимания не ускользнули двойные линии жизни на обеих ее руках. «Мама не должна была вешать у себя эту картину, – сказала Анастасия. – Это было дурное предзнаменование... Но я думаю, у нее было предчувствие, поэтому картина и висела там».

«Какая картина?»

«Французская королева Мария-Антуанетта, которая тоже погибла, как и мама, и все мы».

Анастасию очень тяготила ее неспособность разделить с императрицей ее горячую веру в Бога и силу молитвы. Она знала, что не ходить в церковь – грех. Один раз она попробовала пойти с Кляйстами. «Но запах... пение... и тогда я не могла стоять». Она потеряла сознание, породив тем самым в среде эмигрантов скандал с бесконечными осложнениями. «Я с Богом в ссоре, – очень серьезно заявила она Гарриет фон Ратлеф. – Не разойдись я с Ним, я бы подошла к Святому причастию, но так как я не с Ним, я не могу». Анастасия бунтовала против Бога, и это пугало ее саму: «И зачем я себя так мучаю? Часто я совсем не верю в Него. Потому что, как можно всё это объяснить? Зачем Он посылает такую боль? Даже если всё изменится, я никогда больше не буду счастлива. Иногда я смеюсь – но вдруг на меня снова всё это находит».

Сегодня, рано утром, мне не хотелось больше жить. Я подумала, что хочу заснуть, заснуть, – и тогда всё кончится».

Но Анастасия была суеверна. Она окружала себя иконами и однажды пришла в ужас, обнаружив, что не может вспомнить, куда делся крестик, который она носила ребенком. Крестик был золотой, а в середине была цветная картинка. Она сама надела его на шею ребенка в Бухаресте. Это было с ее стороны единственное проявление материнской заботы.

Теперь для Анастасии божеством стало прошлое. Это было для нее, по словам Гарриет фон Ратлеф, «нечто священное». Если она не могла жить со своими воспоминаниями, она не могла жить и без них. Она не могла обходиться без толстой пачки фотографий, которую носила с собой повсюду. Фотографии царской семьи были единственными подарками – она называла их «милостыней» и принимала без возражений. «Это лучшее, что может быть». Когда фотографии раскладывались по кровати, записные книжки фрау фон Ратлеф начинали разбухать.

«Какой у меня ужасный вид!» – восклицала Анастасия, глядя на фотографии царской семьи.

«Мне так не кажется», – замечала фрау фон Ратлеф.

«О да, тогда я была ужасна; у меня было такое лицо, когда я плохо вела себя. Это было в Одессе... Нет, может быть, я ошибаюсь, не в Одессе, а...»

«Где же?»

«Не помню, простите, сегодня я такая глупая». Но она продолжала: «Мы не слушались, не хотели сидеть смиренно. Я и брат. Я помню, папа рассердился. Видите, какой он здесь сердитый». Несколько минут она молча смотрела на фотографию. «Таня была выше Ольги. Ольга была самая спокойная. Она была как мама. Нехорошо, когда человек всё глубоко чувствует; лучше легкомыслие, так легче жить на свете».

Она могла рассматривать фотографии часами, и не только близких родных. Она вырезала снимки из газет, пополняя свою коллекцию. Там была сестра ее отца, любимая «тетя Ольга», прозванная ее «Швибзик»; «тетя Мавра», урожденная принцесса Саксен-Альтенбургская, «у которой было много сыновей»; «дядя Эрни», великий герцог Гессенский, с женой и двумя сыновьями; и великий князь Кирилл Владимирович, которого она отказывалась называть «дядей», присягнувший Временному правительству в 1917 году, а в 1924 году провозгласивший себя императором и самодержцем всероссийским. «Он на месте папа! Он первым его покинул. Родственник называется!» – Анастасия смотрела

на фотографию Кирилла с отвращением. – У него здесь гнусный вид, как и всегда. – Она содрогнулась. – Гнусный, – повторила она. – Уберите эту фотографию».

Но эта тема вызвала у нее бурную реакцию – Кирилл и эта «Кобургская», его жена, великая княгиня Виктория Федоровна, которая развелась с первым мужем, родным братом императрицы, и вышла за Кирилла вопреки запрету царя. «Если он с женой займут место моих родителей, – сказала Анастасия, – значит, Бога нет. Мадам, вокруг нас при дворе было столько лживых людей... Этим людям было хорошо при нас, и они нас предали!.. Да... когда я вспомню только, как нас приветствовали... как все радовались, когда мы появлялись... И во всей России не нашлось никого, кто бы нас защитил! Этого я никогда не пойму».

«А где они теперь? – думала Гарриет фон Ратлеф. – Где те люди, которые бы позаботились об Анастасии и помогли решить ее дела?» Иногда они говорили об этом. «Никогда бы не подумала, что мне придется пережить такое в Берлине, – сказала Анастасия. – Что моим родственникам будет жаль для меня куска хлеба... Лучше было бы, если бы Чайковский оставил меня лежать там». Но у нее появлялись и реальные предложения. «Привезите сюда Жильяра... – говорила она. – Он еще жив? Если он жив, я бы написала ему, и всё было бы хорошо. Он помог бы мне. Он жил у нас много лет, он хорошо меня знал».

«Доктор меня бы тоже узнал».

«Какой доктор?»

“Который был с нами”.

“Как его звали?”

Анастасия не знала. Потом сказала: “Кажется... Боткин”.

“Вы думаете, его нет в живых?”

“Я помню, что читала где-то, что он умер, – вопросительно глядя на меня, она стискивает мне руки. – А что вам известно? Вы наверняка знаете?”

“Где-то сообщалось, что найдены доказательства”.

Из всего этого я могу понять одно: ей неизвестно, что было написано о гибели царской семьи. Она берет в руки фотографию вдовствующей императрицы и тихо произносит: “Но она жива, я уверена в этом”.

“Вдовствующая императрица должна благодарить судьбу, позволившую ей уехать”.

“Как знать, счастлива ли она? – говорит с горечью Анастасия. – Я жива, мадам, и я несчастна; можете вы мне объяснить, почему так должно было случиться? Все остальные умерли. А я, кто я такая теперь?”»

И в самом деле, кто она была такая? «Я больше никогда, никогда это не увижу! – воскликнула Анастасия, увидев фотографию дворца в Ливадии. – Что с этим всем случилось? Что они с этим сделали?»

Фрау фон Ратлеф ее успокоила: «Всё так и осталось, поверьте мне».

«В такие минуты, – писала Гарриет фон Ратлеф, – когда она уставала от жизни, когда физическая боль и тени прошлого ее одолевали, ее нрав проявлялся со всей своей страстной силой. Мы не могли оставить ее одну. И я, и врачи боялись, что она может что-то сделать с собой. Как часто она жаловалась мне: “Я всё еще безумна, так как не понимаю, как могла прийти в такое состояние, почему у меня нет права быть той, кто я есть, и почему я должна всегда жить среди чужих...” Она не притворялась, говоря, что желала бы умереть, потому что не знает, как ей жить дальше». Терпение Анастасии истощалось, у нее не оставалось сил. «Если вам не удастся помочь мне получить мои права, – предупреждала она фрау фон Ратлеф, – я дольше жить не стану». Она найдет работу, заработает денег, уедет в Грецию, поступит в монастырь и умрет там. «Если придет еще один отказ, я больше не хочу жить. Это последний раз... Я остаюсь той, кто я есть, дитя своих родителей, даже если я и зовусь фрау Чайковская».

Это были уже не слова маленькой девочки. Это уже не была «фройляйн Анни». «У этого бедного измученного существа, – писала фрау фон Ратлеф, – было глубокое сознание своего высокого положения, своего достоинства, что могло выглядеть как угодно, но только не смешно». Ее боль прорвалась в трогательном ироническом восклицании: «Я никогда не говорила, что я великая княжна Анастасия Николаевна!» Она хотела сказать, что никогда не настаивала на титуле, на имени, никогда ничего ни у кого не просила. Барон фон Кляйст «насмехался над ней» и в конце концов рассердился за ее отказ носить белье с монограммой в виде короны и имени Анастасия. Но она понимала, как смешны были эти украшения в ее положении. Если фрау фон Ратлеф хочет, пусть закажет платки с инициалами «А.Ч.» – «или, лучше, просто “А”». Но без короны. В Бухаресте она утратила свои права. «Если бы мои родственники признали меня, им не нужно было бы считать меня Романовой. Я навсегда останусь фрау Чайковской».

Так появилась «фрау Чайковская».

Летом 1925 года, на момент ее поступления в клинику Св. Марии, Анастасия была опасно больна. Туберкулезная инфекция в левой руке осложнилась стафилококком, и у локтя образовалась безобразная, чрезвычайно болезненная открытая рана. «Больная крайне истощена, – писал Сергей Михайлович Руднев, знаменитый русский хирург, лечивший Анастасию и спасший ей жизнь, – и так худа, что похожа на скелет». В подробном отчете о ее физическом состо-

янии он отметил: «На правой ноге у нее я заметил сильную деформацию, очевидно, врожденную: большой палец изогнут вправо, образуя опухоль».

Деформация такого рода была у нее на обеих ногах. Хотя такое явление нельзя считать необычным, в ее случае оно было настолько выражено, что должно было быть заметно от рождения. Профессор Руднев считал, что семья Анастасии не могла не запомнить это. Гарриет фон Ратлеф составила список других особых примет: небольшой шрам на лопатке в результате удаления родинки прижиганием; другой шрам у основания среднего пальца левой руки, который, по словам Анастасии, она прищемила дверцей экипажа; и третий, едва заметный шрам на лбу. Были и еще шрамы, возможно, следы нанесенных ей ранений: например, шрам за правым ухом, который фрау фон Ратлеф определила наугад как «след от пули»; инфекция в груди и левом локте, по мнению врачей, на месте возможных колотых ран; и, наконец, повреждения головы, природа которых и само их наличие оспаривались десятилетиями. «Я помню трещины в верхней челюсти, – вспоминал доктор, делавший рентгеновские снимки головы Анастасии после того, как сами снимки исчезли, – свидетельствовавшие о травме. На черепе были признаки возможного перелома».

«Нельзя сказать, в какой степени нарушение памяти является результатом видимых повреждений, – писал доктор Лотар Нобель, директор клиники, куда Анастасию перевели в июле 1925 года, – поскольку тяжесть этих повреждений сейчас не представляется возможным определить». Расстройство памяти у Анастасии, доходившее до амнезии, озадачивало всех ее врачей. Доктор Нобель писал: «Ее воспоминания о прежней жизни рассеяны, как островки в море... Это очень необычная форма амнезии, не поддающаяся определению, поскольку она относится ко всему прошлому, кроме самого недавнего периода жизни пациентки, о чем у нее сохранилась нормальная память».

Профессор Карл Бонхоффер, известный берлинский психоаналитик, также был вызван для осмотра Анастасии во время ее пребывания в больнице. Бонхоффер не усмотрел внешних признаков травмы головы, но утверждал, что «это само по себе не говорит об отсутствии органического расстройства памяти, поскольку такие расстройства часто являются следствием сотрясения мозга без какого-либо повреждения черепа». Последствия травмы, в любом случае, имеют разнообразные формы, и доктор Бонхоффер заключил, что Анастасия так и не оправилась от ужасов происшедшего. Что это были за ужасы, он не выяснил: «Говоря о последних испытаниях царской семьи, она утверждает, что ее отца застрелили первым. Она помнит появление множества людей и звездное небо. Что было дальше, она не помнит». Как и доктор Нобель, Бонхоффер с особым интересом отметил, что провалы в памяти у Анастасии распространяются на все этапы ее жизни, не только на детство и момент убийства семьи. Он мог только сделать вывод, что эта необычная «амнезия» явилась результатом «более или менее намеренного волевого усилия... Возможно, здесь имеет место потеря памяти как следствие самовнушения, явившегося результатом стремления забыть пережитое... Следует допустить, что у царской дочери могло развиваться такое самовнушение».

Расстройством памяти объясняется и проблема с ее знанием языков, которую Гарриет фон Ратлеф справедливо определила как «причину большинства сомнений в подлинности ее личности». Хотя некоторые заявляли, что слышали, как она говорила по-русски, по-английски и даже по-французски, к 1925 году Анастасия говорила исключительно по-немецки. Ее недоброжелатели, все германофобы, использовали этот факт против нее, утверждая, что царская дочь «вовсе не знала немецкого», поэтому Анастасия, свободно на нем говорившая, не могла быть ею. Однако на самом деле все четыре великие княжны серьезно занимались немецким вплоть до заключения в Тобольске в 1918 году и во время него. Пользоваться этим языком у них было мало случаев, и они им так и не овладели, но и Анастасия, после пяти лет жизни в Германии, тоже им не овладела. Доктор Людвиг Берг, священник из больницы Св. Марии, вспоминал, что Анастасия «говорила по-немецки, но медленно и часто подыскивая слова. Предложе-

ния она не всегда строила правильно». И это правда. Указав однажды на маленького ребенка, Анастасия назвала его «Dieses stisse Kleine Sache» – буквальный и, для немцев, неприемлемый перевод английского «this sweet little thing» (эта милая крошка)¹. Для Анастасии всё было *Sache* — предмет, вещь. В жизни были только «хорошие вещи» и «плохие вещи». Людей она тоже видела только в черных и белых тонах. Они были или *sympathisch* (симпатичные, приятные) или *unsympathisch* (несимпатичные, неприятные). Анастасия пренебрегала грамматикой, употребляя *das*, когда не была уверена. *Das* означало «это», «он», «она». Женщина, встретившаяся с ней, когда Анастасия прожила в Германии семь лет, говорила: «У нее очень странный немецкий, она понимает только самый примитивный язык, не может читать газеты – и всё же говорить она может только по-немецки».

Эту проблему часто игнорировали, рассматривая владение Анастасии языками только с точки зрения ее притязаний: она не могла общаться нормально *ни на каком* языке. Ее психическое состояние настолько ухудшилось, что, когда доктор Бонхоффер осматривал ее в 1926 году, она не могла сосчитать до десяти и узнавать время по часам. Доктор Бонхоффер писал:

«При долгих разговорах лицо застывает, становится напряженным. В обычном общении, однако, у нее всегда внимательная, любезная манера. Выбор слов часто очень удачный, но она никогда ничего не перефразирует. Она дает понять, что не может вспомнить нужное слово... У нее русский акцент, но с каким-то особым приговором. Южногерманского акцента, о котором упоминалось в истории болезни в Дальдорфе, нет и следа...»

Тесты показали, что она может правильно читать отдельные латинские буквы (по-немецки она не читает), но с трудом и только под давлением. Она говорит, что составлять буквы в слова ей тяжело: она может медленно произнести по буквам имя «Анастасия», но отказывается произносить другие слова, ссылаясь на усталость и боль в руке... Она стыдится своего неумения... Читая, она не может связывать слова в предложения. То же самое и на письме. Она с трудом пишет имя «Анастасия» латинскими буквами. Ничего другого она спонтанно написать не может. Пишет она медленно, как семи-восьмилетний ребенок».

Профессор Руднев, оперировавший руку, утверждал, что она под наркозом «бредила по-английски». «Перед операцией, – продолжал он, – я заговорил с ней по-русски, и она ответила на все мои вопросы, хотя и по-немецки». Такое явление наблюдалось многими и часто, так что Гарриет фон Ратлеф даже не утруждает себя доказательствами. Глупо говорить, что Анастасия «не знала» русский. Она не *говорила* на нем, а это большая разница. «Возможно, нежелание говорить по-русски связано с опасностями, которые его употребление могло навлечь на нее во время бегства из Сибири и страхом быть узнанной, – говорил доктор Нобель. – Этот постоянный страх ощущается во всем ее поведении. Этим я объясняю ее нежелание общаться по-русски...» Сама Анастасия объясняла это еще подробнее. Она *не хочет* говорить по-русски, повторяла она вновь и вновь. «Если бы вы слышали тот русский, что слышали мы в Сибири, вы бы никогда не захотели слышать его снова». И если русским монархистам это было не по вкусу, ее это не волновало. «Она приняла решение, – говорил доктор Нобель, – и придерживалась его».

«Я вам кое-что скажу, мадам, – сказала Анастасия Гарриет фон Ратлеф, – но вы не должны меня бранить. Английский нравится мне больше, чем русский. Я уверена, я его быстрее вспомню». На самом деле она надеялась, что оба языка вернутся к ней. «Ужаснее всего, – твердила она, – то, что я не могу найти слова». Анастасия говорила, что видит сны на английском и на русском, но утром забывает. «Иногда я опять всё понимаю, но если бы вы знали, какая это пытка... эти годы в психиатрической больнице, всё просто исчезло».

¹ Английское слово «thing» многозначно. Среди его значений: «вещь, предмет» и «живое существо» (ласково или презрительно). – *Прим. пер.*

Однажды Анастасия пыталась объяснить, что она думает по-английски, но что язык ей не повинуется. Даже по-немецки она часто хочет сказать одно, а получается другое. Это было ужасно. «Она многое забыла, – писала Гарриет фон Ратлеф. – Но она сама себе препятствует, внушая, что не может. Как только Анастасия преодолевает это чувство, часто всего лишь на несколько минут, она всё вспоминает, вдруг произносит русские фразы, которых она от меня не слышала».

Если люди желали понять Анастасию, говорила Гарриет фон Ратлеф, они должны были понять эти ее проблемы. Врачи, исследовавшие ее на протяжении десятимесячного пребывания в больнице, не видели в этих проблемах противоречия с ее притязаниями. Например, русский доктор Руднев не сомневался в подлинности ее личности и стал одним из самых пылких ее защитников и друзей на всю жизнь. (Анастасия называла его «мой добрый русский профессор, который спас мне жизнь».) Только доктор Бонхоффер находил возможным, что его пациентка, будучи не в состоянии принять какие-то факты своей собственной биографии, отвергла их, заменив их подробностями из жизни великой княжны Анастасии. Он не считал, однако, возможным, как это утверждалось впоследствии, чтобы она могла найти эти подробности в книгах или рассказах других людей. Он был убежден, что если она отождествила себя с великой княжной Анастасией, она должна была вырасти в окружении великой княжны, будучи, например, дочерью офицера или какого-то придворного. В любом случае, за краткий период наблюдений (три недели) и ввиду ее упорного отказа отвечать на вопросы, доктор Бонхоффер не мог с достаточной уверенностью определить, были ли воспоминания Анастасии ее собственными:

«Установление личности фрау Чайковской – это проблема не психопатологии, а, скорее, криминологии. Хотя ее осанка, манера говорить и некое изящество в мимике и манере выражаться свидетельствуют о том, что она происходит из интеллигентной среды, всё же трудно составить о ней полное впечатление... Что касается вопроса об установлении личности, о котором здесь идет речь, следует констатировать некоторые психопатологические факты. Пациентка не страдает психическим заболеванием в подлинном смысле слова; с другой стороны, у нее наблюдаются признаки психопатического состояния в виде возбуждения, тенденции к частым переменам настроения, особенно к депрессии, и расстройство памяти.

Возник вопрос, не оказывалось ли на пациентку гипнотического воздействия со стороны какого-либо третьего лица. Ответ на это должен быть дан отрицательный, как на предположение, что речь здесь идет о преднамеренном мошенничестве».

Доктор Нобель, наблюдавший Анастасию на протяжении восьми месяцев, не соглашался с доктором Бонхоффером по некоторым пунктам. Он писал:

«В заключение я хотел бы заявить, что, по моему мнению, ни о каком психическом заболевании речи не идет; я, во всяком случае, в течение длительного периода никаких признаков психического расстройства не обнаружил, как и никаких признаков самовнушения или внушения со стороны других лиц. Хотя ее память пострадала, возможно, в результате повреждения головы, и хотя она подвержена депрессии, по моему мнению, никакой патологии в этом нет.

Теперь несколько замечаний по установлению личности пациентки. Естественно, с моей стороны речь не может идти о доказательствах. И всё же мне кажется невозможным, что ее воспоминания основаны на внушении или что ее знание множества мелких подробностей не почерпнуто ею из личного опыта. Более того, с психологической точки зрения едва ли возможно, чтобы кто-либо, по той или иной причине играющий роль какого-то другого человека, вел себя так, как ведет себя пациентка, и так мало проявлял инициативы в осуществлении собственных планов».

Проявлять инициативу на тот момент предоставлялось Гарриет фон Ратлеф. Проведя всего лишь неделю в обществе Анастасии, фрау фон Ратлеф уже почувствовала себя достаточно уверенной, чтобы обратиться за помощью непосредственно к великому герцогу Эрн-

сту-Людвигу Гессен-Дармштадтскому, единственному брату императрицы Александры. Она полагала, что великий герцог, прочитав ее письмо, должен серьезно отнестись к делу Анастасии. В письме она кратко изложила историю Анастасии и привлекла его внимание к физическим особенностям, какие дядя мог запомнить у своей племянницы. К письму она приложила рентгеновские снимки головы Анастасии и приготовилась ждать ответа.

Результат был весьма неожиданным. «Ответ я, разумеется, получила, – писала фрау фон Ратлеф, – но не очень обнадеживающий». Суть его сводилась к тому, что царская дочь никак не могла остаться в живых. Позднее, ближе познакомившись с делом, фрау фон Ратлеф пришлось признать, что она слишком много ожидала от этого первого обращения, особенно принимая во внимание неудачную встречу Анастасии с другой сестрой великого герцога, принцессой Иреной Прусской. И всё же фрау фон Ратлеф не могла поверить, чтобы великий герцог отказался от женщины, которая могла оказаться единственным уцелевшим ребенком его сестры, хотя бы не рассмотрев доказательства, подтверждающие ее притязания. Поэтому она сделала еще попытку. На этот раз она сделала копии всех своих заметок, приложила к ним фотографии и отправила всё это в Дармштадт на имя верной подруги Эми Смит.

Неустрашимая Эми Смит была внучкой мэра Гамбурга. Отчет о ее приключениях в бывшем великом герцогстве Гессен был впоследствии приложен фрау фон Ратлеф к документам по этому делу. «Когда я решила летом 1925 года поехать в Дармштадт, – вспоминала Эми Смит, – моим единственным побуждением были настойчивые просьбы беспомощной, всеми оставленной, тяжело больной женщины».

Анастасия сама просила фройляйн Смит совершить это путешествие. «Она была целиком за этот план. Сама разработала все детали: когда я могла поехать, когда вернуться, и была убеждена, что ее дядя – великий герцог – приедет вместе со мной и увезет ее. Тогда, как она думала, всё будет хорошо».

Эми Смит прибыла в Дармштадт с рекомендательным письмом от семьи Унру. (Немецкий писатель Фриц фон Унру был близким другом великого герцога и воспитателем его сыновей.) Но великий герцог находился в это время в замке Вольфсгартен, своем охотничьем поместье, и фройляйн Смит была вынуждена вручить письмо графу Гарденбергу, церемоний-мейстеру гессенского двора. Целых два дня прошло в разговорах и спорах. Как говорила в записках Гарриет фон Ратлеф, речь шла в основном о воспоминаниях Анастасии. Эми Смит ее защищала, а граф Гарденберг играл роль адвоката дьявола. «Очевидно, подобные обращения к великому герцогу уже имели место раньше, – объяснила фройляйн Смит, – и всякий раз они оказывались мистификацией». В конечном счете миссия в Дармштадте провалилась. Покидая дворец, фройляйн Смит спросила графа: «Если фрау Чайковская не великая княжна Анастасия и если она не самозванка и не сумасшедшая, что тогда остается?»

«Остается еще возможность, что за всем этим стоит какой-то неизвестный гипнотизер», – отвечал граф.

«И кого в Дармштадте считают этим чудесным гипнотизером? – ворчала Эми Смит по дороге в Берлин. – Фрау фон Ратлеф?»

Тем временем здоровье Анастасии ухудшилось. Фройляйн Смит не знала, как сообщить ей свои известия. «К сожалению, – сказала она, – ваш дядя не смог приехать со мной сразу, как мы надеялись. Но всё будет хорошо. Вы должны потерпеть еще немного».

Анастасию это не утешило. Плача, она отвернулась к стене. «Они все приедут, когда я умру», – прошептала она.

Эми Смит не скрывала своего невысокого мнения о великом герцоге Гессенском. «Я чувствовала, что имею дело с кем-то, абсолютно лишенным гуманности и чувства ответственности, которое должно было бы побудить его выяснить эту страшную и трагическую загадку... Все мои дальнейшие попытки убедить великого герцога прибыть в Берлин инкогнито для выяснения этого дела были решительно отвергнуты. Великий герцог не может прибыть в Берлин

с такой целью. Это могло бы попасть в газеты». Но Эми Смит отлично знала, что это всего лишь отговорка. Ей была известна подлинная причина непреклонности великого герцога. «Это нечто такое, что фрау Чайковская сказала о нем, – осторожно признавала фройляйн Смит. – Я сразу поняла, что нечаянно задела больное место».

За несколько дней до отъезда Эми Смит в Дармштадт Гарриет фон Ратлеф спросила Анастасию, знала ли она лично великого герцога Гессенского. «О да, – отвечала Анастасия, – это брат мама, его зовут Эрнст».

«А когда вы его в последний раз видели? Вы, должно быть, были еще маленькая».

«Нет! Im Kriege bei uns zu Hause» (во время войны у нас дома).

Фрау фон Ратлеф изумленно на нее уставилась. Во время Первой мировой войны великий герцог Гессенский сражался против царской России. Невероятно, чтобы его принимали при русском дворе, когда шли военные действия, и чтобы Анастасия могла его видеть. «Вы что-то путаете, – сказала фрау фон Ратлеф, обычно ей не противоречившая, – может быть, вы хотите сказать, до начала войны?»

«Нет, нет, он был у нас тайно. Он хотел убедить нас или уехать из России, или поскорее заключить мир. Мой дядя может подтвердить, что я говорю правду».

«Я была поражена, – говорила фрау фон Ратлеф. – Это было невозможно, государь враждебной державы... в России, у императорской семьи. Как такое могло случиться?»

«Вы ошибаетесь», – настаивала она, пока Анастасия не вышла из себя:

«Он даже сказал мама: “Нет больше принцессы Солнышко!”»

«Я была поражена», – повторила Гарриет фон Ратлеф. Но, подумала она, если это – правда, если это так и было и никто об этом не знал? И она снова спросила Анастасию: «Вы уверены? Вы уверены?»

«Да, уверена, – отвечала Анастасия, – вполне уверена».

Реакция семьи

В 1929 году, когда скандал по поводу ее притязаний разразился в прессе, Анастасию просили объяснить упорную враждебность к ней при дворе «ее дяди Эрни», великого герцога Гессенского. Она объяснила, насколько сумела: «Это началось с того момента, когда я рассказала... о том, что он (великий герцог) приезжал в Россию. Тогда и началась их кампания против меня... Я не знала, что происходит... Я была тогда при смерти и не знала, что происходит...

Это было во время войны – в 1916 году. Он приезжал заключить договор с папа и мама. Он приезжал под чужим именем, но все мы, дети, его знали, так как видели его раньше. Если бы это стало известно, его бы выслали из Германии, и он ужасно боялся...»

Но что это был за «договор»? Как могла Анастасия знать, что великий герцог приезжал в Россию «убедить нас уехать из России или поскорее заключить мир»? Она продолжала: «Я слышала, как мама говорила об этом. Мы все были очень дружны и все знали, что происходит дома... Мне было тогда около пятнадцати. Конечно, я могла понимать всё. Мы были так близки во всем...

Я очень не люблю говорить что-либо о моих родных и что они делали во время войны, но когда я упомянула случайно, что дядя приезжал к мама в 1916 году, я не понимала, что он сделал это без разрешения. Было очень неосторожно с моей стороны упоминать об этом... так как это явно принесло дяде серьезные неприятности».

Эми Смит назвала это «большим местом». Она хорошо помнила ход событий в Дармштадте: как она встретила с графом Гарденбергом, адъютантом великого герцога; как он сомневался, не выражая, однако, активного протеста; как с интересом и сочувствием просматривал записки Гарриет фон Ратлеф. На самом деле, при первой встрече он казался «потрясенным» сообщением фрау фон Ратлеф, но когда Эми Смит увиделась с ним снова на следующий день, после его консультации с великим герцогом, «он совершенно изменился... Он был со мной почти груб и начал с того, что Анастасия – самозванка. Я объяснила ему, что это мы уже обсуждали с ним, и я могу заверить его, что кто бы она ни была, она не самозванка». Тогда Гарденберг взорвался: «О чем думает эта бесстыжая особа, утверждая, что великий герцог был в России во время войны?» Ярость в его голосе испугала ее. «Он ходил взад-вперед по комнате, и у меня было такое впечатление, что произошла катастрофа, мне совсем непонятная. Поэтому, чтобы успокоить его, я сказала: “Ну, значит, он там не был. Мы тоже этому не поверили”».

Но графу Гарденбергу этого было мало. Фройляйн Смит следует знать, что в Германии есть законы против мошенничества. и клеветы. И шантажа. Анастасия – самозванка, снова заявил он, или сумасшедшая, или и то и другое. И лучше бы ей не сообщать об этом прессе. «Если бы граф Гарденберг просто отмахнулся от заявления Анастасии как вздорного, – сказала Эми Смит, – на этом всё бы и кончилось, по крайней мере для меня. Но его крайнее возбуждение дало мне понять, что мы коснулись чего-то очень важного».

Ни для кого не было тайной, что великий герцог Гессенский, имея в русской царской семье двух сестер, – одной из которых, императрице, явно грозила гибель, – был озабочен заключением сепаратного мира между Россией и Германией. Нет также никакого сомнения и в том, что правительство Германии одобряло усилия великого герцога и уполномочило его действовать от своего имени в период до середины 1916 года. Ключ к этому осложнению не столько в заявлении Анастасии о приезде великого герцога в Россию для переговоров с царем и царицей, сколько в том, что он сделал это «без... официального разрешения». В 1925 году, когда Анастасия упомянула об этом, великий герцог Гессенский, за семь лет перед тем лишившийся трона, еще лелеял надежду его вернуть. Он не мог на это рассчитывать без поддержки всё более проникавшегося республиканскими настроениями населения Германии и без отказа

от ошибок прошлого и старых связей – семейных связей. Дочь кайзера Виктория-Луиза так объясняет эту ситуацию в своих мемуарах:

«Лично я не знаю никого, кто бы располагал свидетельствами посещения великим герцогом Санкт-Петербурга (Царского Села). Я ничего не слышала об этом и от отца. Но мне известно, что предложение послать в Россию кого-то из семьи обсуждалось, в том числе и с военными, но Людендорф был решительно против. Так что, если такой шаг и был сделан, это произошло без ведома Верховного командования. Этим могло бы объясняться требование строжайшей секретности со стороны моего отца, и этим же можно было бы объяснить молчание великого герцога даже в собственной семье. Они наверняка ничего об этом от него не слышали».

В последующие годы Анастасия, к ее удовлетворению, услышала подтверждения своего рассказа от людей, которые могли кое-что об этом знать. Стена секретности начала обрушаться, когда двадцать пять лет спустя германская кронпринцесса заявила, что не только великий герцог Гессенский посетил Россию с миссией мира, но что и «в наших кругах об этом было известно даже в то время». Собственным источником кронпринцессы был ее свекор, кайзер. «Поэтому, по моему мнению, – продолжала она, – своим заявлением (о котором я услышала много позже) фрау А.Ч. доказала, что она, по меньшей мере, обладала хорошим знанием высокой политики и тайных сношений императорской семьи». Затем Фриц фон Унру объявил, что сам помогал великому герцогу составлять планы поездки в Царское Село и что эти планы осуществились *вопреки желаниям кайзера*. Были и десятки других свидетелей. Одна дама из высшего петербургского общества весьма невинно заметила: «Не понимаю, почему это все толкуют о *тайной* поездке великого герцога. Мы все об этом знали».

«Нет никаких данных, – верноподданически утверждают дармштадтские архивисты, несмотря на все свидетельства об обратном, – что бывший великий герцог Эрнст-Людвиг Гессенский мог посетить Россию в 1916 году». Но это не ответ на вопрос, был он там на самом деле или нет. Возможно, встретиться великий герцог с Анастасией, они бы этот вопрос решили между собой. Но когда ей предложили поехать самой в Дармштадт для встречи с великим герцогом, Анастасия отвечала: «Нет, я хочу, чтобы он здесь, на глазах у всех вас, сказал мне в лицо, что не был у нас во время войны!» А к тому времени, когда Эми Смит вернулась в Берлин, в Дармштадте уже началась кампания с целью признать Анастасию самозванкой – иными словами, обезвредить ее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.